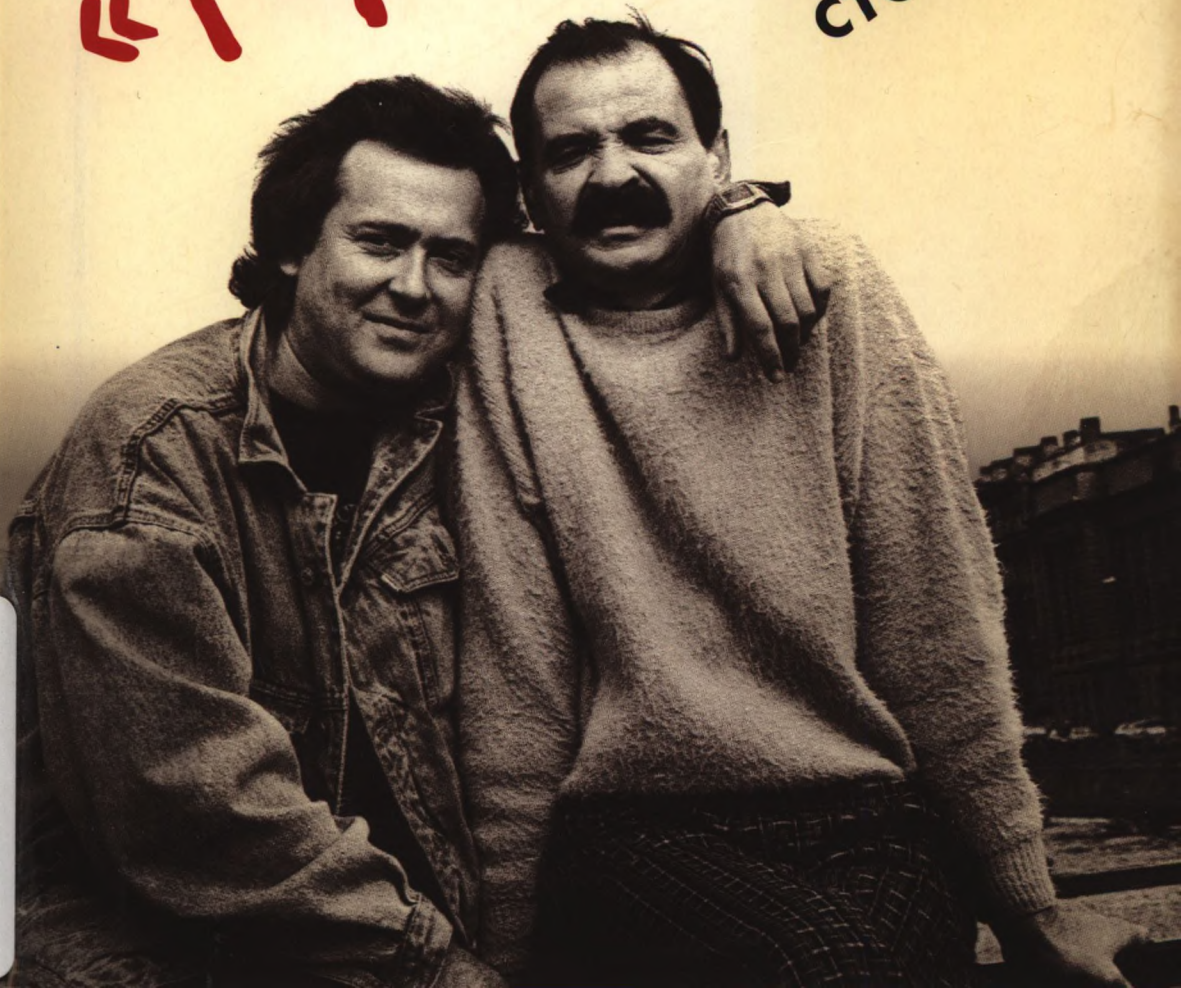


До  
встречи в  
«Торожке»

Илья  
ОЛЕЙНИКОВ

Юрий  
СТОЯНОВ



Наша  
со **СТОЯНОВЫМ**  
жизнь делится  
пока на две части -  
до «Тородка»  
и в «Тородке».

**Илья  
ОЛЕЙНИКОВ**  
До встречи  
в «ГОРОДКЕ»

Мои рассказы  
адресованы всем,  
кому интересно, как  
я жил до основания  
«Тородка».

Для того, чтобы  
узнать, как жил  
до этого **СТОЯНОВ**,  
надо просто  
перевернуть книгу.

*И. Олейников*

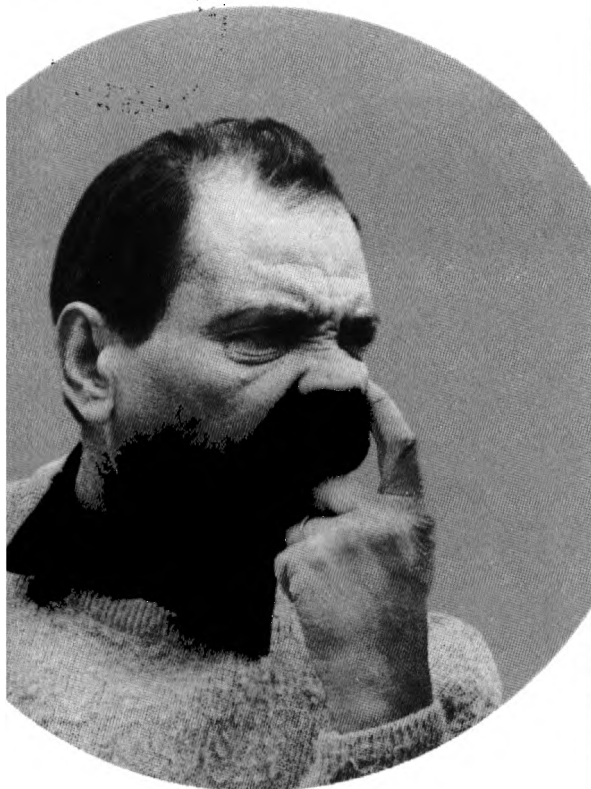


Посвящается  
родителям,  
жене, сыну,  
сестре,  
племянникам.  
А также  
всем друзьям  
родственников

ИЛ<sup>Ь</sup>Я  
ОЛЕЙНИКОВ

До встречи  
в «Торожке»

Художественный фонд  
«ЭЛЕГАНС»  
Санкт-Петербург  
1997



## ТИТРЫ

Илья Олейников  
**До встречи в  
«Городке»**

Дизайн  
Д.М. Плаксин, С.Д. Плаксин  
Редактор  
С.В. Дружинина  
Художественный редактор  
Г.С. Устинова  
Корректор  
Е.В. Крутова  
Компьюторная верстка  
С.Д. Плаксин

Фото на обложке П.А. Котов  
Фото на с. 2, 5 С.В. Нарчук

Лицензия № 04772  
от 17.06.96.

Подписано к печати 29.04.97.  
Формат 70x90<sup>1/16</sup>  
Гарнитура Helvetica  
Печать офсетная.  
Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 13,5. Изд. № 02.  
Тираж 10000 экз. Зак. 5280.

Издательство "Артист. Режисер. Театр."  
Совместно с Художественным фондом  
"Элеганс"

190000, Санкт-Петербург,  
ул. Чайковского 36, оф. 42.

Отпечатанно с готовых диапозитивов  
в ОАО «Иван Федоров».  
191126, Санкт-Петербург,  
Звенигородская ул., 11.

ISBN 5-87334-023-4

© Художественный фонд "Элеганс" 1997г.  
© И.Л. Олейников. Текст. 1997г.  
© Д.М. Плаксин, С.Д. Плаксин. Дизайн. 1997г.  
© П.А. Котов, С.В. Нарчук, фотографии. 1997г.

UNIVERSITY OF WASHINGTON  
LIBRARIES



М.Горький.

**«В детстве у меня  
не было детства».**

И.Олейников.

**«...А у меня было».**



# Глава первая,

в которой я признаюсь,  
что когда-то был маленьким.  
Многие верят



коридорах детства я передвигаюсь достаточно неуверенно. Воспоминания об этом отрезке жизни смутны и расплывчаты. Что я помню явственно, так это безуспешные попытки родителей во что бы то ни стало приобщить меня к искусству.

Если учесть, что единственные подмости, на которые уверенно ступала моя мама, были подмости кухни, а папа имел к сцене более чем отдаленное отношение, становятся понятными их настойчивые попытки приблизить меня к прекрасному. Может, в них говорило неосознанное стремление самим блистать во вспышках фотокамер? Может быть. Так или иначе, усилия они прилагали титанические. С утра до вечера меня кормили записями мелодий из индийских фильмов, очень модных в те удивительные годы, а также ариями и ариетками из всевозможных опер и оперетт. Наконец папа решил, что я достиг такой степени совершенства в воспроизведении перечисленных выше произведений, что было бы преступным не поделиться этими достижениями с человечеством. Не со всем, конечно, человечеством, а с лучшей его частью, то есть папиными друзьями. В доме стали появляться гости.

В нашем доме всегда привечали гостей, но теперь их приход имел абсолютно практическое значение — они шли знакомиться с чудом. Все происходило так: когда гости брезгливо оглядывали только что уничтоженный ими стол, мой отец вска-



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



кивал и, со словами: «Сейчас мой мальчик споеет нам что-нибудь значительного!», швырял меня на стул. Я, пытаюсь словить равновесие, выплевывал на гостей накопленные мной пластиночные цитаты, фрагменты, диалоги, корча рожи и выделывая на заготовленном мне крохотном плацдарме всякие невообразимые па. Гости изображали восторг. Еще бы! После такого стола... Каждый считал своим долгом прихватить меня за щечки и тягать их в разные стороны с какой-то нечеловеческой силой. К концу этой одобрительно-уничижительной процедуры щечки мои из розовых превращались в синюшные и только через несколько дней приобретали свойственный им ровный цвет. Поэтому гостей я не любил. Как, впрочем, и музыку, которую я считал своим личным врагом.



**С мамочкой  
и папочкой**

знал, как звучит ни сама гамма, ни эта «прэлэстная пэсенка», но название «Петушок» настолько меня заинтриговало, что мое знакомство с «божэствэнным инструмэнтom» я решил начать не с гамм, а именно с «Петушка». Учитель воспротивился и заявил, что так не бывает. Тогда воспротивился я. Наш спор продолжался довольно долго. Все аргументы учителя подавлялись мной беспощадно, и, наконец, не выдержав напряжения, учитель вскочил и скрылся раз и навсегда.

Тогда в дом был приглашен другой наставник — аккордеонист Эдуард Макаров. Эдуард был белокур, элегантен, пах

Мама с папой так не считали. Для меня был нанят учитель по игре на скрипке. Я думаю, он был неопытным педагогом, не познавшим всех тайн детской души. Он сказал мне: «Мы начнем наше обучение с игры на этом замечательном, божэствэнном инструмэнтe с гамм, а уже чуть попозжэ возьмемся за прэлэстную пэсенку «Петушок»». Я, конечно, не



**«Мир победит войну» —  
так написано на наших шапочках, по слову на каждой.  
«Война» — это я. Спокойствие и оптимизм излучает мое лицо.  
Зато «мир» и «победит» чувствуют себя неуютно.  
И немудрено. Судьба их ужасна. «Мир» уехал в Израиль,  
где заведует клиником, а «победит» влачит свое жалкое  
существование где-то под Лос-Анджелесом**

духами «Красная Москва» и, дабы не вызвать у окружающих сомнений в своей интеллигентности, время от времени вынимал из кармана пилочку и наяривал ею по своим и без того идеально ровным коготкам. В глазах у Эдуарда скопилась буйная похоть. В них отражалось огромное количество женщин, поверженных им на своем нелегком жизненном пути, и, когда он разговаривал с мамой, становилось понятно, что и ей вряд ли удастся избежать его дивных сексуальных чар и что она падет в самое ближайшее время. Наконец, осознав, что он приглашен не для того, чтобы разрушить наш семейный очаг, а совершенно в других целях, он устало спросил:

— А где, собственно, мальчик?

— Я здесь, — тихо ответил я, подавленный величием аккордеона.

— Ну что ж, мальчик... Для начала посмотри на это, — и он вытащил потрепанную черно-белую афишу, на верху которой было написано: «КУБАНСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР».

Под названием был изображен сам хор. Так сказать, непосредственно. Человек триста. От частой демонстрации афиши вся эта толпа слилась в огромное потертое пятно, из которого редкими лепестками вытарчивали отдельные физиономии.

— Видишь меня, мальчик?

В голосе Эдуарда сквозила неподдельная гордость.

— Не вижу, — искренне ответил я.

— То есть как это «не вижу»? Что значит «не вижу»?!

Эдуард был потрясен.

— А это кто по-твоему? — и он раздраженно ткнул своим идеальным коготком в размытую точку.

Точку эту можно было принять за что угодно, только не за лицо Эдуарда. Но я ощутил, что если опознание не состоится и на этот раз, то Эдуард этого не перенесет (а может быть, и не переживет).

— Теперь вижу, — прошептал я.

— То-то, — удовлетворился Эдуард.

Статус-кво было восстановлено.

— Теперь, когда ты понимаешь, кто тебя будет обучать, я думаю, мы найдем общий язык, — продолжил он.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

Как ни странно, Эдуард обучал меня достаточно толково, и я научился извлекать из аккордеона звуки, не очень портившие южный ареал.

Папа воспрял. Он устроил мне экзамен, результаты коего его вполне удовлетворили, и в дом с новой силой хлынули гости. Вторая волна. Правда, папу несколько раздражало то, что он не может (как прежде) размашисто швырять меня на стул. Очевидно, он догадался, что в момент моего соприкосновения с мебелью центр тяжести неизбежно переместится в сторону аккордеона, что немедленно вызовет мое падение. Прости меня, Господи (я очень люблю своих родителей), но кажется мне, что в этот момент папа думал не о сохранности своего сына, а о сохранности инструмента. Инструмент действительно был дорогой. Немецкий. Трофейный.

Надо честно признаться, что моя игра на аккордеоне не вызывала у гостей былого прилива энтузиазма. И за щеки меня никто не хватал. Да и вундеркинд стал старше. Это заметил и отец и после очередного полуфиаско, раздраженно бросив в мою сторону: «Я просчитался! Никогда из индюшки не выйдет самолет», отстал от меня раз и навсегда. Детство заканчивалось. Начинались будни.

  
ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



# Глава вторая,

в которой я помню  
школьные годы  
и скорбю о постраданной  
первой любви



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

## П

Первое свое первое сентября помню плохо. Помню себя стоящим в первой шеренге с буйным букетом роз (розы были баснословно дешевы), помню напутственную директорскую речь, из которой я понял только одно: что школа — наш дом на десять лет. Это немедленно вызвало у меня ассоциацию с тюрьмой, что было странно для ребенка моего возраста. Тем более такого культурного ребенка.

Еще помню радужную, ослепительную листву за школьными окнами, солнечных зайчиков на профессорских лицах, украшавших классные стены.

Помню чувство освобожденности от родительской опеки. Помню загадочную фразу Киммельмахера, потрясшую нашу физичку (это уже шестой класс):

— Солнце движется по эвклёптике.

Помню (опять первый класс), как возвращался из школы весь извоженный в чернилах, словно я не вгрызался на занятиях в гранит науки (это было совершенно исключено), а часами стоял под чернильным душем. Я врывался в дом, яростно забрасывал в самый дальний угол портфель, вызывавший у меня крайнюю степень неприязни, и, с криком: «Мама, я сегодня четверку получил!», улепетывал на улицу.

Вслед за мной из комнаты вылетал мамин крик:

— По какому предмету, сыночек?

— Два по арифметике и два по грамматике! — неслось от меня в сторону комнаты. Из комнаты, совсем уже слабо, доносились отголоски маминых проклятий по этому безрадостному поводу, но мне было уже все равно. Я был на У-ЛИ-ЦЕ!

Улица в провинциальном городе — совсем не то, что улица в Москве или, скажем, в Петербурге. Провинциальная улица — это что-то до болезненности въедливое. Въедливое и знакомое от камня мостовой до выбитого зуба в уже и без того выщербленном рту постоянно пьяного дворника Моисейки. Провинциальная улица — это нечто огромное, как сам мир, и интимное, как блудливая мысль о первой, еще не состоявшейся женщине. Сам воздух этой улицы был необыч-



**За семейным  
столом.  
Мама, папа,  
моя сестра Женя,  
ее муж и я**

ный, не имевший ничего общего с воздухом соседней улицы, потому что воздух соседней улицы был воздухом именно соседней улицы, а не нашей.

Улица в первую очередь манила меня футболом. Футбол я любил фанатически. Зеленый газон, свисток судьи, предвещающий начало матча, мяч, трепещущий в сетке, — все это возбуждало меня, как возбуждает алкоголика вид бутылки.

Однажды я встретил на улице знаменитого защитника Володю Ларина. Володю Ларина весь город носил на руках, а его именем одинаково бредили как взрослые дяди, так и безусые пацаны. От волнения у меня пересохло в горле. Мне очень хотелось, чтобы Ларин сказал хоть что-нибудь. Именно мне сказал. Во что бы то ни стало. Ларин стремительно приближался. В башке грохотал разладившийся оркестр, и, когда мы наконец поравнялись с Лариным, я испуганно выдохнул:

— Который час?

— Пошел на хер, — вежливо ответил Ларин, даже не повернув в мою сторону свою красивую, аккуратную брюнетную голову.

Два чувства боролись во мне. Первое говорило: «Ну вот ты и добился. Он с тобой поговорил. Ну и чудненько». — «Что чудненько? — ворчало второе чувство. — Тебя послали, а ты: чудненько!».

И все-таки тщеславие взяло верх. И, повстречав одноклассника, я небрежно заметил:

— А меня сейчас Ларин на хер послал.

— Да ну?! — не поверил тот. — Поляжись!

— Чтоб мне сдохнуть! — поклялся я.

Весь следующий день я был героем школы. Только и было разговоров: «Ты слышал, вчера Ларин Илюху на хер послал!» И даже не знавшие меня шестиклассники уважительно показывали на меня пальцем и говорили:

— Вот идет тот самый мужик, которого Ларин на хер послал.

Я был польщен повышенным вниманием к моей персоне. Не скрою: это приятно волновало.

...Итак, футбол. Я мог гонять мяч часами, сутками и даже неделями. Мне было совершенно все равно, где и с кем — мне был важен сам процесс игранья.

Отец мой любил футбол никак не меньше меня. В футболе ему не нравилось одно — видеть, как я себя в нем сжигаю. Во всяком случае, так ему казалось.

— Что ты носишься, как какой-то балагула? Тебе что, больше нечего делать? — не понимал он. — Так если нечего де-



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

лать — пойди и стукнись головой об стенку. Толку будет больше. Я тебя уверяю.

Я не обращал на эти прозрачные намеки никакого внимания. А зря.

...Играли мы как-то «контора на контору». Так это у нас называлось. Мяч у меня в ногах. Я ощущаю его каждым нервом своего полуистлевшего полуботинка. Я рвусь к воротам Моньки Штивельмана. У Моньки от жуткого предчувствия близкого гола глаза расширяются до размеров теннисного шарика. Я уверенно обхожу все подставленные ножки. Я дриблингую. Никакая сила не может меня остановить. Я нащупываю головой удар. И вдруг... бац... хрясь... треск ткани... Это внезапно появившийся отец разрывает на мне трусы, как разрывает финишную ленточку победитель стайерского забега. То есть буквально на мелкие кусочки. Отец обнажает мое еще не успевшее окрепнуть мужское естество. Обнажает уверенно, как бы говоря окружающим: «Товарищи! Вот я, а вот мой сын. Мне скрывать нечего. Не правда ли — мы очень похожи?»  
Конец цитаты.

Если бы на пустыре кроме нас никого не было, я бы пережил этот конфуз легко и просто. Но позвольте, господа! На трибуне, состоявшей из нескольких дырявых бочек и ржавых труб, сидели дамы. И не просто дамы. На трибуне сидела Таня Еремина. Та самая Таня, тайная любовь моя, которой я давно хотел открыться. Но после того, что она только что увидела, открывать ей было решительно нечего. Все было раскрыто моим разгневанным папочкой.

Где ты, когда-то любимая мной Таня Еремина? Где ты, свидетельница моего позора? Слышишь ли ты меня? Если слышишь — молчи. Все равно ничего не изменить. Поздно, мой друг. Слишком поздно.

...Я схватил пучок травы, прикрыл им срамное место и рванул в неизвестность. И только одна мысль сверлила меня: штаны, где найти штаны?



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



# Глава третья,

в которой я пытаюсь  
изобразить из себя Казанову,  
но ничего не получается



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

## П

оговорим о странностях любви. Влюблялся я часто и внезапно, и так же часто и внезапно это упоительное чувство покидало меня.

В первый раз это случилось со мной в пятилетнем возрасте. Моей избранницей стала Анечка. Анечка жила в соседнем дворе. Длинные ее волосы спускались до талии, а на прелестной головке сверкал пушистый белый бант. Когда Анечка, сидя в песочнице, случайно дотрагивалась до меня острым локотком, сердце мое сладко ныло. Но однажды Анечка заболела стригущим лишаем и была острижена наголо. Когда Анечка предстала передо мной в виде маленького лысого монстра, любовь моя тут же испарилась.

Лет до пятнадцати я влюблялся несметное количество раз, но отношения с еще неоперившимися школьницами носили чисто платонический характер. Я ни с кем не целовался, в то время как мои школьные товарищи уже занимались этим вовсю. Во всяком случае, говорили, что занимаются. Их эротические рассказы приятно возбуждали. Товарищей было много, рассказов — еще больше, и вскоре мой теоретический запас в этой области стал весьма обширен. Хотелось применить полученные знания на практике. Так сказать, опробовать эту тонкую технологию на живом материале. Но случая не представлялось.

Конечно, провозжая очередную влюбленность домой, я предпринимал попытки припасть к ее живительным устам. Но мои пассии были целомудренны, как ангелы. Все до единой. В лучшем случае все заканчивалось держанием ее ладони в моей, пока наконец от долгого держания девичья ладошка не покрывалась испариной. Это служило мне сигналом, что ладошку пора отпускать.

— Так чего? — спрашивал я развязно после мучительной паузы. — Я пошел?

— Иди-иди! — облегченно вздыхала милостиво отпущенная мною влюбленность.

Первый поцелуй случился внезапно и едва не обесточил меня. Произошло это на вечеринке. Вечеринка носила постный и стерильный характер, пока какой-то прыщавый юноша не прокартавил:

— А не пога ли нам в бутылочку поиграть?

Предложение было принято с интересом. Когда очередь дошла до меня, бутылочный перст указал на скромно сидящую в углу хозяйку дома. Нельзя сказать, что она блистала красотой. Согласитесь — трудно назвать красавицей особу, весящую сто двадцать килограммов, а то и сто тридцать. Но к тому времени меня не волновало, с кем состоится мой премьерный поцелуй. Мне было важно только одно — чтобы он состоялся.

Когда раскрученная мной бутылка показала на хозяйку, та стала подавать признаки беспокойства. Она начала покачиваться, нервно выламывать пальцы, поправлять волосы, пока не сказала:

— Я здесь целоваться не буду. При всех. Пошли в спальню, — и, схватив за руку, стала уволакивать меня в другую комнату.

Она делала это столь решительно, что мне стало не по себе. Я даже впал в короткий шок, а выпав из него, подумал, что, пожалуй, дело может закончиться не только поцелуем. Терять же мою так долго и тщательно берегаемую невинность с этим самодвижущимся комодом не входило в мои



**В возрасте, когда уже посматривают на девочек**

планы. Я сделал попытку сопротивляться. Бесполезно. Какое уж там сопротивление с моими жалкими шестьюдесятью килограммами против ее весомых ста двадцати. Софочка (а все ее называли уменьшительно-ласково — Софочка), ворвавшись в спальню, ловким бойцовским приемом швырнула меня на кровать. Рук ее не было видно — они работали в режиме вентилятора. Вентиляторные руки одновременно расстилали постель, сбрасывали с Софочки платье, пытались раздеть меня и еще совершали множество других движений.

Все мои теоретические выкладки, все те знания, которые вбивали в меня участливые соученики, пошли прахом. Я был лишен Софочкой всякой инициативы. Единственное, что я успел, так это укусить ее за ухо, но сделал это не из сексуальных побуждений, а исключительно в целях самообороны. Не-человеческим усилием я извлек из-под Софиных окороков свое обмякшее, расплющенное тело и, застегиваясь на ходу, выскочил из спальни мимо обалдевших гостей на улицу. Ноги подкашивались, руки дрожали, к горлу подкатывала тошнота. Слишком неравной была схватка.

Через некоторое время, оправившись от Софочки, я познакомился с Вале́й Гусер. Фамилия полностью соответствовала ее внешности. После Софочки Валя казалась мне совершенно беззащитной. Она была романтически настроенной девушкой и обожала туристские походы и все, что с ними связано: костры, песни под гитару, немытые котелки и прочие походные прелести. В первую туристскую ночь, сидя на муравьином гнезде, я поцеловал Валею.

— Остальное — в спальном мешке! — строго предупредила Валя.

— Почему в мешке?

— Потому что! — отрезала она.

В ту же ночь под волчий вой и завистливое уханье сов я, путаясь в лямках спального мешка и Валькиного нижнего белья, стал мужчиной.

Ранним утром, выцарапавшись из мешка и сладко потягиваясь, Валя сказала:

— Я так счастлива! Я себя чувствую, как сказочная птица Пенис, восставшая из пепла.

Пришлось констатировать, что Валя была хоть и романтической, но малообразованной девушкой.

Должен признаться, что на моем пути часто встречались необразованные девушки. Одна, пригласив меня на белый танец, прижалась щекой к щеке и спросила блудливо:

— Броеетесь?

— А как же, — в тон ответил я. — Какой же молодой человек не броеется? Как утром проснусь — бритву в руки и броюсь, броюсь, броюсь... Пока все не сброю.

Но попадались и эрудитки. После того, как с одной из них у меня произошло то, что иногда происходит между лицами противоположных полов, она раскинулась в неге на постели и спросила:

— Милый, а кто твой любимый литературный герой?

— А твой? — спросил я, находясь в состоянии морально-го нокаута.

— Павка Корчагин, — ответила она, и в глазах ее засветился задорный комсомольский огонек. — Особенно когда он узкоколейку строил.

Мне стало мучительно больно... Я поднялся и молча оделся. Светлый образ Корчагина стоял перед глазами и как бы говорил мне:

— Как же вам не стыдно, товарищ?! Мы там узкоколейку строим, а вы тут... Эх, товарищ-товарищ...

Но хватит об этом. Не пристало мне, глубоко женатому человеку, вспоминать о грехах юности. Негоже это. Несolidно. Да и было ли?



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

До встречи в «Торжке»  
еще очень долго...



# Глава четвертая,

в которой я начинаю  
приобщаться к искусству,  
а искусство сильно  
сопротивляется



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



шестнадцать лет я, по велению своего раздираемого противоречиями сердца, поступил в Кишиневский народный театр. Условия приема в сей храм художественной самодеятельности были просты. Хочешь поступать — будешь принят. Не хочешь поступать — не будешь принят.

Создателем этого уникального театрального организма был Александр Авдеевич Мутафов. Лет ему было около семи-десяти, но он об этом даже не догадывался. Или не хотел догадываться. Где-то под Тюменью сохла по нему молодая жена его Тома, но он сам толком не помнил — жена она ему, теща, дочка или вовсе малознакомая женщина. Лицо его смахивало на сильно высохший помидор, из центра которого неизменно вытарчивала выкуренная до последнего миллиметра сигарета «Ляна». В народе эти сигареты называли «атомными», и действительно, когда Мутафов закуривал, невольно хотелось дать команду: «Газы!».

Еще Авдеич любил дешевый портвейн. Он называл его уважительно — портвэйн. С таким вот почтительным употреблением буквы «э» я столкнулся еще раз. Встречался я с одной. Однажды она мне говорит:

— Кофэ хочу!

Решительно так говорит.

«Ну, кофе так кофе», — подумал я и повел девушку в

близлежащий общепит. Выпила она чашку, прокрутила во рту последнюю каплю и говорит:

— Еще хочу.

Взял вторую. Выпила.

— Еще, — говорит, — хочу.

Взял третью. Третью она пила долго и сосредоточенно, причмокивая языком и облизываясь. Потом вздохнула протяжно, вытерла вспотевшее лицо платком и произнесла загадочную фразу:

— Все мне говорили — кофэ, кофэ... Ни-че-го особенного.

Итак, Мутафов. Обычно, напившись «портвэйну», он закуривал традиционную «атомную», собирал нас в круг и начинал свой поучительный рассказ.

«Значит, дело было в тридцать седьмом году. Время непростое. Сложное, я бы сказал, время. Телефонный звонок. Снимаю трубку.

— Кто говорит? — спрашиваю.

— Берия! — отвечают.

— Слушаю вас, Лаврентий Павлович.

— Александр Авдеич, — говорит, — не хотите МХАТом поруководить?..»

В зависимости от количества выпитого рассказ варьировался. Например:

«Дело было в тридцать седьмом. Время, сами понимаете, какое. Раздается звонок.

— Кто говорит? — спрашиваю.

— Калинин, — отвечают».

А однажды допился до того, что увертюра звучала так:

«Дело было до войны. Аресты, расстрелы... Жуткое время. Вдруг звонок. Снимаю трубку. В трубке голос:

— Товарищ Мутафов?

— Да, — отвечаю.

— Сейчас будете с Кремлем разговаривать».

Долгая пауза, глубокая затыжка, глоток «портвэйна».

— А кто звонил? — интересуемся мы, заинтригованные новым сюжетным поворотом.

— А-а-а! — отмахнулся Авдеич. — Сталин звонил. — И неожиданно добавил: — Мудила долбаный!



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



**Был у меня приятель Толя Могилевский. Решил он эмигрировать в США. Перед самым отъездом, когда одна его нога была еще здесь, а другая уже там, он зашел ко мне попрощаться. Вы, конечно, догадались, что над моей головой зависла именно та нога Могилевского, которая еще здесь**

За десять лет диктаторства в народном театре Мутафов поставил два спектакля. Первая пьеса была написана грузинским драматургом или, как теперь говорят, лицом кавказской национальности Амираном Шеваршидзе. Называлась пьеса «Девушка из Сантьяго», и в ней в легкой увлекательной форме рассказывалось о боевых буднях простой кубинской девушки, которая в течение нескольких часов нанесла американцам такой материальный ущерб, что, вздумай сегодня Фидель Кастро этот ущерб возместить, Куба бы осталась без штанов. К счастью для американцев, отважную девушку в конце спектакля зверски замучила батистовская охранка. Не сделай они этого, то и Америка наверняка бы осталась без штанов. Пьеса безусловно удалась автору, так как была одобрена спецкомиссией ЦК КПСС и рекомендована к исполнению. Насколько хороша вторая пьеса, сказать не могу. Это была «Бесприданница» Островского, а относительно нее комиссия из ЦК никаких положительных рекомендаций не давала.

Несмотря на то, что два этих опуса шли не менее десяти лет, Авдеич ежедневно репетировал отдельные сцены, пытаясь довести их до совершенства.

— Так! — победоносно орал он хриплым пропитым голосом. — Хор-рошо!.. Но уже лучше!

В такие минуты он напоминал отца и вождя корейского народа Ким Ир Сена, «руководящего на месте» кукурузообрабатывающей фабрикой.

Полгода я сидел в зале, наблюдая эти незабываемые уроки мастера и ожидая, когда же наконец мастер обратит на меня свой пылающий режиссерский взор. И вот — свершилось. В кубинской эпопее был персонаж — священник Веласкес. Роль в реестре действующих лиц была обозначена автором так: «Священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо», и единственное, что успевал сказать по ходу пьесы этот злополучный священник, было: «Я — священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо», после чего его вешали. Происходило это следующим образом. Революционно настроенная девушка из Сантьяго приказывает:

— Привести сюда этого подонка, священника Веласкеса из Сьюдад-Трухильо.

С голодухи готовые на все кубинские партизаны молдавского разлива выволакивают на сцену избитое существо, облаченное в рваную черную мантию.

— Кто этот человек? — грозно вопрошает кубинская Жанна д'Арк.

— Я — священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо! — вопит избитое существо.

— Кончить негодяя! — решительно говорит сантьяженка, и пар-



**...и чувства добрые  
я лирой пробуждал.  
Но не пробудил**



тизаны охотно идут навстречу ее просьбе. Правда, они деликатно уводят священника за кулисы, и доносящийся оттуда через секунду протяжный животный крик дает понять зрителю, что и на этот раз добро победило зло.

Роль не задалась. То ли партизаны волокли меня вяло, то ли я не настроился, но когда девушка спросила: «Кто этот человек?», я промямлил нечто непотребное.

— Что?! — бесновался Мутафов. — Почему?! Человека ведут на виселицу, а ты бубнишь под нос, как старый еврей на молитве.

— А при чем здесь старый еврей? — обиделся я.

— Не надо мне шить антисемитизм, — продолжал бешевать Мутафов. — У меня бабушка еврей!

— Да ничего я не шью, — оправдывался я. — Просто партизаны волокут меня без настроения.

— Ах, значит, мы волокем без настроения? — обиделись в свою очередь партизаны. — Ну, пойдем!

Их тон не сулил мне ничего приятного в ближайшие полчаса. Обидевшиеся партизаны потащили меня так, что стало ясно — будет больно. Даже очень больно. И когда командирша в очередной раз кокетливо спросила: «Кто этот человек?», я заверещал что было мочи:

— Я — священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо! Только не бейте меня больше — я все скажу!

— Хор-рошо! — успокоился Мутафов. — Хор-рошо! Но уже лучше! Только без отсебятины.

Он ничего не понял. Это была не отсебятина. Это был крик души. Я подумал, что если партизаны позволяют себе такое на репетиции, то на спектакле они могут так разойтись, что я буду просто размазан по стенке.

Через несколько дней я прочел в вечерней газете объявление о наборе в кукольный театр учеников кукловодов с зарплатой сорок рублей. Больше рубля в моем кармане не водилось. Сумма показалась мне значительной. Я явился на показ. Выбирать было не из кого, поскольку только я один и явился. Главреж окинул меня взглядом с головы до пят, словно отсматривал не кандидата в кукловоды, а проститутку в бордель. Впечатления на него я явно не произвел. Он вяло спросил:



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

— Рост у тебя какой?  
— Сто девяносто сантиметров, — отрапортовал я.  
— Высоковат. А ширма — метр семьдесят.  
— Ничего! — рапортовал я. — Пригнусь.  
— Ну-ну, — протянул главреж, — посмотрим. На-ка, роль почитай.

— Сразу роль? — не поверил я.

— А что делать? Людей-то нету, — он сокрушенно развел руками, как бы давая мне возможность самому убедиться в том, что людей и вправду нет. И я понял, что берут меня не из-за искрометности моего таланта, а ввиду полной безысходности.

Роль, порученная мне в кукольной труппе, мало чем отличалась от Веласкеса. Это была роль барсучка. Оптимистично настроенный барсучок с рюкзаком за плечами выныривал на лесную опушку, распевая песенку следующего содержания:

Эй, с дороги, звери-птицы,  
Волки, совы и лисицы.  
Барсук в школу идет,  
Барсук в школу идет.

— Ты куда, барсучок? — весело спрашивает белочка, настроенная не менее оптимистично.

— В школу иду! — еще веселей отвечает барсучок.

— А там интересно? — спрашивает белочка, на всякий случай добавив еще несколько градусов веселья.

— Оч-чень! — уже на пределе оптимизма визжит барсучок и уходит в прекрасное далёко.

Надо отдать должное — роль я выучил быстро. Возникло препятствие другого рода — я решительно не вписывался в ширму. Я выгибался до максимума, и от этого рука, держащая барсучка, выписывала такие кренделя, что у детей возникало антивоспитательное убеждение: барсук идет в школу не просто выпивши, а нажравшись до самого скотского состояния. Если же я выпрямлялся, то над ширмой величаво маячил черный айсберг. А, как известно, айсберги, да еще черные, в европейских лесах нечасто появляются. Даже в сказках. Загадка разрешалась просто — это



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

была макушка моей аккуратно подстриженной головы.

Главреж стонал, но уволить меня не мог. Артистов катастрофически не хватало. И тогда он принял поистине соломово решение. Он заказал у декораторов шапочку в виде пенька. Я надевал пенек на голову, и, как только барсук появлялся над ширмой, вместе с ним появлялся и пенек-голова. Барсучок вальяжно на нем (или на ней) разваливался, отбарабанивал весь свой текст, а уходя как бы невзначай прихватывал с собой и пенек. Детям нравилось.

На одном из спектаклей случилось непредвиденное — с белочки свалилась юбка. Белочка, все это знают, — особь женского рода и посему была одета в юбку. Когда вышеуказанная юбка сверзилась с беличьего тела, я воспринял это однозначно — баба исподнее потеряла. Я (как барсучок) был настолько потрясен этим бесстыдным стриптизом, что меня отбросило за кулисы. Из зала даже показалось, что барсук перед своим позорным бегством прошептал возмущенно:

— Что ж ты, сучка, делаешь?

Меня выгнали. И я подумал: «А на кой ляд мне сдался этот кукольный?» Тем более, что меня уже все больше привлекала эстрада. Ее мишурный блеск слепил.

— Вот это — мое! — думал я. — Вот это — мое!

И, в одночасье собравшись, уехал в Москву. В эстрадно-цирковое училище.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



# Глава пятая,

в которой я наконец приобщаю  
искусство к себе

## И

вот я стою в экзаменационном зале один на один с приемной комиссией. Стою, как стоял под Москвой в грозном сорок первом генерал Панфилов. Насмерть. Отступать некуда. Поэтому на подиум, подхалимски сутулясь, вышел журавлеобразный юноша с большой задницей и маленькой змеиной головкой. Ноги заканчивались лакированными стоптанными шкарами и коричневыми штанами, сильно стремящимися к лакированным штиблетам, но так и не сумевшими до них дотянуться. Все оставшееся между коричневыми штанами и черными башмаками пространство было заполнено отвратительно желтыми носками. А заканчивался этот со вкусом подобранный ансамбль красной бабочкой на длинной шее. Она развевалась, как флаг над фашистским рейхстагом, предрекая комиссии скорую капитуляцию.

— Как вас зовут? — спросили меня.

— Илюфа.

В комиссии недоуменно переглянулись.

— Как-как?

— Илюфа, — скромно ответил я, про себя поражаясь их тупости.

Следует пояснить, что, поскольку первые восемнадцать лет я провел в Кишиневе, то разговаривал я на какой-то адской смеси молдавского, русского и еврейского. К этому «эс-



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

перанто» прибавляли полное неумение произносить шипящие и свистящие. Вместо С, З, Ч, Ш, Щ, Ц я разработал индивидуальную согласную, которая по своим звуковым данным напоминала нечто среднее между писком чайного свистка и шипением гадюки. Что-то вроде «кхчш». Все это фонетическое изобилие подкреплялось скороговоркой, что делало мою речь совершенно невразумительной. Меня понимали только близкие и друзья. По каким-то интонационным оттенкам, мимике и телодвижениям они улавливали генеральное направление того, что я хотел сказать, а уж дальше полагались на свою интуицию.

Очевидно, увидев, а тем более услышав меня, экзаменаторы предположили, что я являюсь посланцем неведомой им доселе страны. Однако, посовещавшись, пришли к единому мнению, что я таким странным образом заигрываю с ними.

— Значит, Илюфа? — приняли они мою игру.

— Илюфа! — подтвердил я, ничего не подозревая.

— И откуда фе вы приефафи, Илюфа? — раззадоривали они меня.

— Иф Кифинефа, — лучезарно отвечал я.

— Ну, фто фе, Илюфа иф Кифинефа, пофитайте нам фто-нибудь.

Они явно входили во вкус. «Ну, засранцы, держитесь!» — подумал я, а вслух сказал:

— Фергей Мифалков. Бафня «Жаяч во фмелю».

В переводе с моего на русский это означало:

«Сергей Михалков. Басня “Заяц во хмелю”».

Ф жен именин,

А, можеч быч, рокжчения,

Был жаяч приглакхчфен

К ехчву на угохчфеня.

И жаяч наф как сел,

Так, ш мешта не кхчшжкодя,

Наштолько окошел,

Фто, отваливхкчишкхч от фтола,

Ш трудом шкажав...



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

Что именно сказал заяц, с трудом отвалившись от стола, комиссия так и не узнала. Я внезапно начал изображать пьяного зайца, бессвязно бормоча, заикаясь и усиленно подчеркивая опьянение несчастного животного всеми доступными мне средствами. И когда к скороговорке, шипенью, посвистыванию и хрюканью прибавилось еще и заячье заикание, комиссия не выдержала и дружно ушла под стол. Так сказать, всем составом.



**Ольга Александровна Аросева — мой педагог и та самая пани Моника из знаменитой телепередачи «Кабачок “13 стульев”». Рядом с ней друг моего детства, ныне артист Театра сатиры Анатолий Гузенко**

Я ничего этого не замечал. Я упивался собой.

— Хватит! — донеслось до меня из глубины сознания. — Прекратите! Прекратите немедленно!

Это кричал из-под стола серый от конвульсий председатель комиссии Юрий Павлович Белов.

— Прекратите это истязание! Мы принимаем вас! Только замолчите!

Я был счастлив, но счастье мое было недолгим. Нина Николаевна, педагог по сценречи, окунула меня в ушат с холодной водой.

— Дитя винограда! — сказала она. — Если ты не зай-

мешься своей дикцией, через полгода вернешься домой.

Каждый день с утра до вечера я, как проклятый, выворачивал наизнанку язык, наговаривая невероятные буквосочетания. И наконец на одном из занятий отчеканил:

— Шты, штэ, шта, што.  
Жды, ждэ, жда, ждо.  
Сты, стэ, ста, сто.  
Зды, здэ, зда, здо.

Шипящие и свистящие звенели, как туго натянутая струна.

— Молодчина! — похвалила меня Н. Н.

— Кхфто, правда, хорокфо? — по привычке спросил я.  
Курс заржал.

Мне повезло с учителями. Ольга Аросева, Евгений Весник, Александр Ширвиндт, Надежда Слонова... Но не будем о тонкостях преподавания актерского мастерства. Я хочу рассказать вам другую историю. Историю о том, как Ольга Аросева приобрела шубу.



Илья  
Олейников



# Глава шестая,

в которой я рассказываю  
о чудесной прогулке своего  
отца, а также рассказываюсь  
в некоторых злодеяниях

## П

риезжая в Москву, мой отец в приватной беседе убеждал Ольгу Александровну Аросеву, что шубу надо покупать в Кишиневе, потому что только в этом городе можно купить шубу чуть ли не задаром. А учитывая отцовские связи — просто за копейки. Ольга Александровна, ничтоже сумняшеся, согласилась. А так как Кишинев — город южный, то и оделась она соответственно — туфельки, капроновые чулки, легкий плащ. Дело было зимой. Сходит она с трапа. Мороз — двадцать градусов. Ветер. Народ в воротники прячется. Неуютная какая-то погода. На следующий день, позавтракав, собрались за шубой.

— Может, прогуляемся? — невинно предложил отец.

— Холодно, — неуверенно сказала Аросева. — Да и в капроне я.

— Да мы буквально пять минут, — не унимался папа. — Подышим — и в такси.

И вот тут Ольга Александровна дала маху. Она взяла отца под руку.

В те годы пани Моника из «Тринадцати стульев» находилась в зените славы. Ее любили, ее обожали, ее боготворили. Вероника Кастро сгрызла бы ногти от зависти, увидев хоть краешком глаза, каким бешеным успехом пользовалась эта женщина. И естественно, что папино появление в центре провинциального города с пани Моникой — Аросевой под ручку



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



вызывало у прохожих оцепенение. Знакомых у отца было много. Даже очень много. Через каждые тридцать секунд очередной остолбеневший папин приятель отводил его в сторону и, затаив дыхание, спрашивал:

— Лева, это она или это мираж?

— Это не мираж, — по-хозяйски отвечал папа. — Это она.

Через полчаса застывшие ноги Ольги Александровны решительно отказались ходить.

— Лев Анатольевич, — жалобно спросила она, — может, в такси?

— Какое такси, Олечка, когда мы уже почти здесь, — сказал папа, наслаждаясь эффектом совместной прогулки.

Это «почти здесь» продолжалось еще минут сорок. Когда они, наконец, дошли до места, пани Моника не сумела войти в дверь. Она в нее впала.

— Хотите посмотреть, мадам, на товар, который я для вас приготовил? — ворковал хозяин. — Это не шуба, я вам скажу. Это что-то особенное!

— Какая на хрен шуба?! — прогремела Ольга Александровна. — Вина. И как можно больше.

Очень долго помнила она свой шубный вояж и невольно вздрагивала при этом страшном воспоминании. Тем не менее, шуба была при ней.

По-моему, невозможно встретить женщину, которая осталась бы равнодушной, услышав заветное «шуба». Уж на что моя жена была выдержанным человеком, но и она, завидев этот предмет в витрине магазина, начинала томно шуриться, вероятно, представляя себя в этом роскошном одеянии, небрежно прогуливающейся где-нибудь в швейцарских Альпах. Увы, ни то, ни другое ей не светило. Денег в нашей семье хронически не хватало. Деньги — странная штука. То их нет, то их совсем нет.

Итак, шубка долгие годы оставалась недостижимой мечтой. Пока в один холодный январский вечер меня не вызвал начальник отдела кадров Ленконцерта (где я тогда работал) Горюнич, которого мы любовно называли «Гальюнчик».

— А не хотите ли вы поехать на гастроли за рубеж?

— Кто ж туда не хочет? Хочу, — говорю.



**В 1974 году, порвав с бурной холостяцкой жизнью,  
я вступил в законный брак.  
Пусть вас не смущают наши грустные лица:  
организовать свадьбу при полном отсутствии денег —  
дело, знаете ли, непростое**

— В Афганистан.

— Кто ж туда захочет? Не хочу, — говорю.

— Но если вы съездите в Афганистан, мы потом отправим вас с шефскими концертами для наших воинов в Венгрию. Мы вас не торопим. Подумайте.

— А чего тут думать? Хочу в Афганистан, — сказал я, мгновенно проанализировав ситуацию.

Водки в Афганистане в 1983 году хронически не хватало. Не афганцам, нет. Нашим. Весь местный запас алкоголя был уничтожен ограниченным контингентом советских войск в самые короткие сроки. Ограниченный контингент мучился и, буквально давясь, вынужден был пить всякую гадость. Я из чисто гуманитарных соображений решил помочь интендантской службе в решении этой сложной, но не невыполнимой задачи. Водки я купил чемодан. Ушла она в первые же минуты моего пребывания на дружественной нам тогда афганской земле. Теперь вместо чемодана водки я держал в руках чемодан денег. Грязных афганских денег.

— Сколько стоит лисья шубка? — небрежно спросил я у сопровождающего нас майора.

— Да черт ее знает! Тысяч десять, наверное, — ответил майор.

Всю ночь, положив чемодан на тумбочку бдительно спящего дневального, я пересчитывал честно наспекулированную мною валюту. Сколько бы я ни мусолил купюры, получалось, что на покупку шубки недостает нескольких тысяч. И тут мой взгляд упал на висящее в углу кожаное пальто. Когда-то его носил отец, чуть раньше — его отец. Это была семейная реликвия, которая сохранилась только потому, что тяжело было ее (реликвию) выбросить. Я оглядел пальто скептическим взором. Вид у него был неважнецкий. О том, что это пальто, а не, скажем, половая тряпка, можно было догадаться исключительно по пуговичкам. Пуговички были австрийские. С первой мировой войны.

«Ничего-ничего, — сказал я сам себе, — все путем... Возьму у солдатика гуталина, начищу пальтишко, срежу с рубашки итальянскую бирку, пришью чуть ниже воротничка — ни одна падла не догадается. Будет как новенькое».

На следующий день я, крепко зажав под мышкой надра-  
енное до блеска кожаное хламье, ринулся на базар. Кругом  
сноваля бойкие афганские пацаны, неся на головах лоточки,  
на которых валялась всякая всячина — зажигалки, дешевые  
часы, жевательная резинка.

— Совецки! — кричали они наперебой. — Купи херня!  
Купи херня!

Дело в том, что наши офицеры, завидев товар, который  
продавали мальчуганы, и тщательно его осмотрев, подытожи-  
вали увиденное по-военному четко:

— Херня!

А пацаны, решив, что «херня» есть исконно русское сло-  
во, обозначающее мелкую торговлю, застолбили его за со-  
бой. От раздающегося со всех сторон «купи херня» у меня  
разболелась голова.

«Действительно, херня!» — подумал я и решительным ша-  
гом направился в сторону лавочек, где ассортимент был по-  
серьезней. Мне повезло. В первой же лавчонке висела осле-  
пительно рыжая шубка. За прилавком стоял старик, ничем не  
отличающийся от среднеазиатского аксакала. На голове его  
красовался малахай, из подбородка просачивалась редкая  
седая борода.

— Заходы, рафик, заходы, друк, — залопотал аксакал.

— Хау мач шубка? — спросил я.

— Друк рафик, — продолжал лопотать аксакал. — Списа-  
ално для тебе — десат сисач. — И добавил: — Максимально!

— Вот у меня паль-то, — сказал я, медленно и громко  
выговаривая каждое слово. — И-та-ли-я! Почти но-вое. И-та-  
ли-я! — и показал на бирку, чтобы аксакал не сомневался в  
иностранном происхождении моей кожаной тряпки.

— Я да-ю те-бе паль-то и пять ты-сяч. Пять!

— Нэт Италия, нэт палто. Десат сисач давай — счупка  
твой, — лопотал аксакал. И снова добавил: — Максимально!

— Мужик, — начал я торговаться по-новой. — Пальто  
итальянское, кожаное, понимаешь? Кожаное! Итальянское! Вот  
бирка. Би-ры-ка!

— Пирка, — повторил он.

— И еще я тебе, дураку старому, пять тысяч даю. Целых пять.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

И выбросил на руках пять пальцев. Но аксакал заладил свое:  
— Нэт палто, нэт пирка. Десат сисач давай. Максимально.  
— Сволочь! — заорал я совсем уже не в себе. — Я тебе, саксаул х..., даю пальто итальянское и пять тысяч. Что ж тебе еще надо? — распоясался я, утешая себя тем, что старик ни шиша не понимает.

Но тот держался стойко.

— Нэт палто, нэт пирка. Десат сисач давай — бери счупка.

Торговаться было бесполезно. В других лавках шубки стоили одиннадцать, двенадцать, а то и тринадцать тысяч. Охрипший и злой, брел я по узким улочкам, волоча за собой потерявшее всякий вид пальто, как вдруг увидел резко затормозивший джип, на котором гордо восседал комендант Кабула полковник Полешкин.

— Что случилось? — спросил он.

— Да вот, шубку жене хотел купить. Пальто даю итальянское, деньги даю, а он, гад, не берет.

— Кто не берет? — не понял Полешкин.

— Да старик в лавке. Лавка тут рядом, а он, гад, не продает.

— Так не продает или не берет? — снова не понял Полешкин.

— И не берет, и не продает, гад!

— Ты погоди, объясни толком, чего он не берет и что он не продает?

— Неужели непонятно? Пальто не берет, а шубу не продает, — удивился я недогадливости Полешкина.

— Да почему ты ему пальто отдать должен? — окончательно запутался Полешкин.

— Денег на шубу не хватает. Она стоит десять тысяч, а у меня всего пять. Вот я и хочу ему дать пять тысяч и пальто в придачу. Вместо недостающих пяти. Главное, пальто нормальное. Итальянское, почти новое.

— Ладно, поехали.

Появление полковника Полешкина, да еще с двумя автоматчиками, вызвало у старика такую бурную реакцию, какую ни до того, ни после я не видел и уже не увижу никогда. Он даже подпрыгнул, когда эта святая троица вошла в лавку.

— Ай-я-я-я-я-я-яй! — заверещал он на какой-то невооб-

разимо высокой ноте. Судя по ней, я понял, что старик уже неоднократно встречался с Полешкиным и каждая такая встреча не проходила для него даром. Она всегда дарила ему несколько неожиданных, но, безусловно, приятных мгновений.

— Где шубка? — спросил у меня Полешкин, не обращая на вопли и пританцовывания старика ровно никакого внимания.

— Вот она, — кивнул я в ее сторону, впервые почувствовав всю неловкость и абсурдность положения, в которое попал.

— Шубку! — приказал он все еще не пришедшему в себя от внезапной радости старику.

— Есть счупка! — проклякотал тот, продолжая выделывать невообразимые па.

**Я в том самом кожаном пальто, которое было совершенно бескорыстно передано кабульскому коммерсанту. 1985 год. Афганистан**



— Дай ему пять тысяч и пальто! — приказал Полешкин теперь уже мне.

Старик взял пальто и деньги, даже не пересчитав. Не думаю, что это была самая удачная сделка в его, несомненно, долгой жизни.

— Как ты мог? — спрашивала меня жена Ира, когда я вернулся домой, и в голосе ее звучали прокурорские интона-

**У всякого гарного  
хлопца в гарна  
дивчина.  
О це — моя**



ции. — Как ты мог? Ведь ты же интеллигентный человек!

Я мотивировал свой постыдный поступок исключительно политическим положением.

— Ирина, — сказал я достаточно убедительно, — ты согласна, что я, в принципе, *действительно* интеллигентный человек?

— Допустим, — с трудом согласилась она.

— Представь теперь, что я, такой интеллигентный, честный и порядочный, живу не здесь, а в Америке. Представила?

— Допустим-допустим.

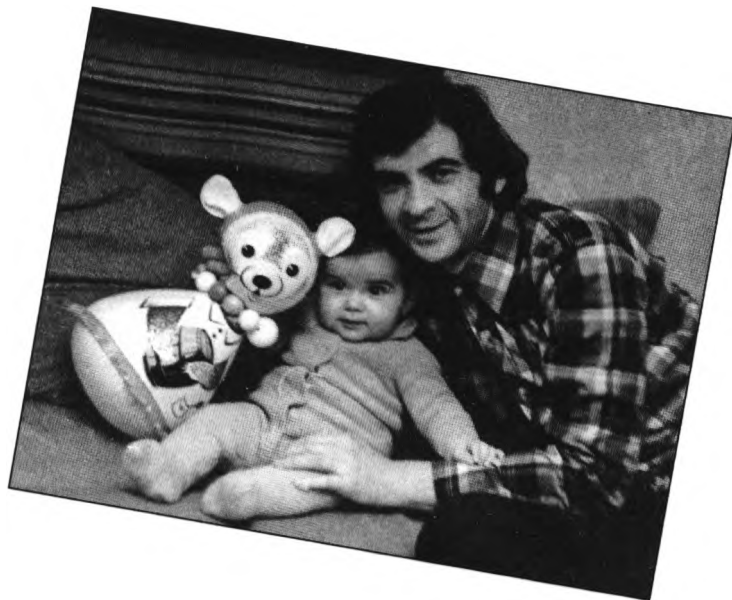
— А теперь ответь! — выкинул я свой козырь. — Смог бы

я, будучи интеллигентным, честным, порядочным и обеспеченным — подчеркиваю — обеспеченным американцем, пойти на такую мерзость?

Ирина задумалась.

— Вот так-то, милая. Не во мне дело-то. Не во мне. Режим виноват.

— Какой режим? — Ирина разинула рот от удивления.



**Радость отцовства.  
Сын Денис все  
делал незаметно...  
Незаметно рос,  
незаметно вырос и  
совсем незаметно  
создал со своим  
приятелем Стасом  
дуэт «Чай вдвоем»**

— Наименьшего благоприятствования.

Объяснение если и не удовлетворило Ирину, то, во всяком случае, успокоило. Семейное статус-кво было восстановлено.

Но вернемся в цирковое училище. Четыре года учебы прошли под знаком борьбы за выживание. Я учился на отделении клоунады и стипендию получал поистине клоунскую. Двадцать рэ. Чтобы хоть как-то пополнить свой бюджет, мы все время находились в поисках побочных средств к существованию. Наши финансовые фантазии были неисчерпаемы. Мы покупали четырехкопеечные соски, надували их, раскрашивали и



продавали уже по десять копеек. Мы надевали на себя рыжие парики, красные носы и стояли у метро с плакатами типа «Не дайте погибнуть молодому дарованию». Как нас не забирала милиция — не знаю. Апофеозом всего стала операция по изыманию стеклотары на Казанском вокзале.

Учился с нами на курсе некий Слава Сизоненко. Был он намного старше нас, и вся его тревожная молодость прошла, как и у великого пролетарского писателя Максима Горького, «в людях». Правда, только это объединяло Сизоненко с великим пролетарским писателем. Славик разработал много способов добычи денег, но любая попытка внедрить тот или иной способ в жизнь заканчивалась грандиозным скандалом. Тогда он решил призвать на помощь меня.

— Есть план! — сказал он мне. — Есть очень хороший план. Но для начала скажи: что остается в вагоне, когда поезд прибывает на конечную станцию?

— Мусор остается, — мрачно пошутил я.

— Грязь, мусор — само собой. А еще что? — Он вывел рукой знак вопроса и сам себе ответил: — Бутылки остаются.

— Ну и что? — спросил я.

— Объясняю объяснение. Мы сейчас едем на Казанский вокзал. Поездов на Казанском навалом, так? Так. Дожидаемся ближайшего. Так? Так. Пассажиры выходят, проводникам не до нас. Так? Так. И вот тут-то мы, пользуясь суматохой, врываемся в вагон, хватаем по паре бутылок, делаем ноги в следующий вагон, потом в третий, четвертый и таким образом проскакиваем через весь состав.

План был неплох, тем не менее первая попытка завершилась сокрушительным провалом. Ворвавшись в вагон и увидев несметное количество пустой посуды, Сизоненко оборзел от жадности и вместо того, чтобы взять, как мы договаривались, несколько бутылок, решил хапнуть все. Тут-то его и накрыли проводники. Разговор вышел недолгим. Секунд эдак через пять Сизоненко был позорно выброшен прямо на перрон.

— Нет, дружочек, так не пойдет, — сказал я Славику, нежно стряхивая с него железнодорожную пыль. — Не надо заниматься рвачеством. Надо людям вежливо растолковать, что мы — бедные студенты, что в Москве у нас никого нет, что



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

родители где-то далеко, а стипендия маленькая. И все в таком духе. И просить не больше двух бутылок. Понимаешь, Славик? Не больше двух. Народ расчувствуется, а две бутылки им всяко погоды не сделают.

— Ладно, — буркнул Славик. — Только просить будешь ты.

— А ты что будешь делать?

— Я буду плакать.

В училище Славик славился тем, что мог заплакать по первому требованию. А когда такой здоровый детина, как Сизоненко, начинал рыдать, это вызывало сочувствие даже у покойников.

— Внимание, внимание! — прогавкал вокзальный репродуктор. — Поезд номер двадцать шесть Барнаул — Москва прибывает на первый путь.

— А ну, повтори, гнида, — оскалился Сизоненко, и репродуктор охотно прогавкал еще раз:

— Повторяю! Поезд номер двадцать шесть Барнаул — Москва прибывает на первый путь.

Мы дружно смешались с толпой встречающих.

— Товарищ проводник, — затараторил я сладеньким голоском, — будь человеком. Перед тобой два студента. Нам нечего есть. Со вчерашнего утра росинки маковой во рту не было. Дай две бутылки на булочку.

Сизоненко облился безутешными слезами.

— Щас, мужики, щас, — засуетился обалдевший проводник и вынес не две бутылки, а четыре.

Процесс пошел. Я тараторил, Сизоненко рыдал, проводники стонали и слаженно выдавали посуду.

С каждым разом мы нагтели все больше и больше, а смысла в жалостливой «просилке» оставалось все меньше и меньше. В конце концов «просилка» приняла форму короткого приказа: «Денег нет! Бутылки давай!» Славик выплакал полугодовой запас слез и только усердно протирал платком сухие глаза.

К вечеру мы заработали сумму, превышающую месячную стипендию раза в полтора. Надо было возвращаться в общежитие. Но Славой овладел прямо-таки какой-то дух стяжательства.

— Еще один поезд — и все! — возбужденно шептал он.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

— Сизоненко, — пытался урезонить его я, — ты глянь в расписание. Поездов до ночи не будет.

— А в тупике что, не поезда? — уговаривал вконец распродавшийся Слава. — Хвосты видишь? Вон их сколько.

Мы поплелись по путям, дошли до ближайшего состава и постучали. Дверь открыла пожилая проводница. Силы были на исходе.

— Тетя! — устало произнес я. — Тетя, мы студенты. Дайте нам пару бутылок, а мы на них колбаски купим.

Из тети хлынул фонтан слёз.

— Что случилось? — испугался я.

— Господи! — заламывала руки проводница. — У меня сын у Полтаве учится. Неужто и он по вагонам побирается, кровинка моя! Сейчас, хлопцы, погодьте — вот, возьмите пятьдесят копеек, а я в вагон сбегаю, еще принесу.

Меня обдала волна стыда.

— Да вы что? — гордо и гневно сказал я. — Да как вы смеете? Мы что — бродяги бездомные, что ли? — И посмотрел на Сизоненко, ожидая от него такой же решимости.

Сизоненко круто ломало. Он понимал, что брать полтинник у напуганной женщины глупо, но монетка так соблазнительно сверкала, что отказаться от нее ему казалось еще большей глупостью.

— Э-э-э... мы... э-э-э... вообще мы денег не берем, — важно пробасил он. — Но... э-э-э... раз уж вы... так сказать... э-э-э... Ну и потом, у вас э-э-э... сын — студент... э-э-э... так уж и быть. — И, забрав монетку с таким видом, будто сделал проводнице огромное одолжение, царской походкой двинулся от вагона.

Больше с Сизоненко я на промысел не ходил.

До встречи в «Торжке»  
осталось 45 стр.



# Глава седьмая,

в которой рассказывается  
о том, как хорошо иметь  
в подружках фортуны

**Я** часто думаю: откуда у меня авантюрная жилка? Очевидно, от отца.

Папе всегда везло. Удача вообще относилась к нему с приязнью. Она баловала и лелеяла этого элегантного двухметрового красавца и решительно во всем шла ему навстречу. Даже четыре года войны он прошел без единой царапины, не ховаясь при этом ни в окопах, ни в траншеях, ни в штабах. Отец по натуре был петухом, воевал весело, а матери писал с фронта бесшабашные письма на плохом русском языке, так как с хорошим русским языком не был знаком вовсе. И все его письма неизменно заканчивались следующими оптимистическими словами: «Победу уже ни загорамы. Привет з фашистской логовы. Твой муж старший сиржант, пятый арудийный нумер Лева». А когда отгремели победные салюты, отец привез такое количество трофеев, что невольно возникало подозрение: войну развязал не сумасшедший фюрер, а папа, причем развязал ее исключительно в целях разорения Германии и всех ее союзников. Боевые действия уже закончились, а эшелоны с отцовскими трофеями все шли и шли, мча на всех парах с разных концов земного шарика, добираясь до станции Кишинев и облегченно сбрасывая с плеч уставших платформ нескончаемые ящики и чемоданы с добром.

В хибарке, где кроме меня жили мама, папа, моя сестра, бабушка, дедушка и ряд других дальних и близких родствен-



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



**Папа со своими корешами.  
Кишинев, 1960-е годы**

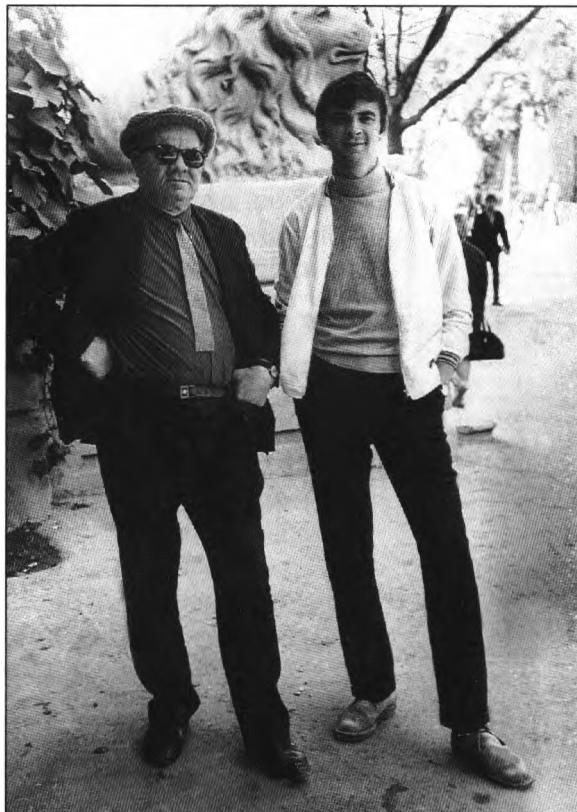
ников, шаг нельзя было ступить, не задев локтем древней японской вазы редкой красоты или не разбив чашечку-другую из бесценной коллекции саксонского фарфора прусского короля Фридриха II. Послевоенное время было тяжелое, жрать было нечего, и потому весь этот антиквариат лихо менялся на картошку, мясо, лук — на любую еду. Но количество вывезенного барахла упорно не хотело уменьшаться. Оно как бы даже увеличивалось по какому-то антиматематическому закону. Семья решительно не знала, что со всем этим делать. Бабушки, дедушки и другие дальние и ближние родственники задыхались в этой, в буквальном смысле слова, *непроходимой* роскоши.

Помощь пришла неожиданно — со стороны ОБХСС. Сталинская Конституция обязывала всех трудиться. Не перечя Конституции, папа устроился на работу. На комбинат. Но не на какой-нибудь там металлургический или целлюлозно-бумажный. Нет. Он устроился на маленький комбинат, занимавшийся производством и отделкой кожи. Целый день отец беззаветно отдавался любимому делу, а после работы не менее энергично отдавался тому, что в Уголовно-процессуальном ко-

дексе именовалось не иначе как «хищение гос. имущества в особо крупных размерах».

Да, грешен был папа, грешен. Но воровал он отнюдь не из жадности, а из жалости. При виде варварски разбросанных там и сям шматов, лоскутов и обрезков кожи его сердце просто разрывалось на части. Чувство праведного гнева, можно сказать, просто сотрясало его организм при виде этой вопиющей бесхозяйственности. А посему, закончив трудовой день, папа совершал тайные прогулки по комбинатским закоулкам, обвязывая и опоясывая свое упругое тело километрами бесхозного сырья, и делал это до тех пор, пока не превращался в гигантский кожаный кокон. После столь чудесного превращения из мужика в куколку он напяливал на себя необъятные штаны, такую же безразмерную фуфайку и, с трудом протискиваясь через турникет проходной, застенчиво желал вахтеру счастливого и, главное, бдительного дежурства.

Когда украденной кожей было забито, как минимум, пять сараев, папа оглядел все это богатство и, как бы подытоживая увиденное, сказал: «Ну, можно начинать реялизацию», то есть как бы выдал сам себе патент на торговлю. Надо отдать ему долж-



**Через три дня я сниму с себя гражданскую одежду и пополню ряды доблестных вооруженных сил Советского Союза.**

**Папа делает вид, что он не в курсе дела. Я тоже**



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

ное — цены он назначал до неприличия низкие. Вскоре весть о добром еврее, отдававшем кожу чуть ли не задарма, облетела всю республику. К папе вереницей потянулись сапожники-кустари. Так после долгой зимы тянутся домой вереницы журавлей, лебедей, гусей и прочей летучей живности. Сапожники пыхтели, купюры шуршали, кожа скрипела. И разлетались в стороны непонятные мне слова типа: «Хром — что надо. Помни на мягкость. Не говори мне про шевро. Двести дециметров — больше не могу...» и, наконец, коронная фраза: «Кто из нас больше рискует — я или ты?» Папин брат, дядя Абраша, сидя в виноградной беседке, с завистью наблюдал это вавилонское столпотворение, беспокожно почесывал спину и увещевал папу: «Лева, ты сядешь, Лева. Или я не Абраша, или ты сядешь, чтоб мне не встать с этого места».

Дядя Абраша оказался вещуном. Папу «взяли». Взяли с поличным у комбинатской проходной. Взяли «тепленького», подхватив с двух сторон под белые ручки и аккуратно внеся в троллейбус. В троллейбусе была давка. Папе стало нехорошо. Да и как может быть хорошо, если с двух сторон тебя сжимают два мента, а ворованная кожа нежно обволакивает оголенное тело.

— Мне жарко! — еле выдавил из себя папа.

— Ну и хули! — резонно ответили менты.

— Мне жарко, и я хочу снять фуфайку, — уперся папа.

— Да хоть трусы снимай, нам-то чего? — невозмутимо откликнулись менты.

И тогда папа пошел ва-банк. Он как-то змееобразно освободился от влажной кожи, неуловимым движением свернул ее в рулон, затем стремительно запихал ее в фуфайку и, перекинув внезапно образовавшийся сверток рядом стоявшему пассажиру, повелительно рявкнул: «Шоферу! Быстро!» Ничего не успевший понять пассажир, повинувшись приказу, метнул сверток вперед. Чьи-то руки перекидывали его все дальше и дальше, пока злополучный пакет не попал непосредственно к шоферу. А тот, покрывая тихим эгегическим матерком и раздолбанную дорогу, и пассажиров, и свое автоначальство, выкинул сверток за окошко, практически даже не успев его заметить.

Сказать, что милиционеры офонарели от дикой отцовской выходки, значит не сказать ничего. К кабинету своего начальника парочка подошла на ватных ногах. Теперь уже отец заботливо вел их под руки, а не они его. Ничего не подозревающий начальник отдела был настроен весьма игриво:

— Нуте-с, Леф Нафтулович, — почти ласково спросил он, — и где кожа?

— Нету! — просипели вместо отца внезапно охрипшие охранники.

— То есть как это — нету? — не понял начальник.

— Ну, нету, — снова просипели охранники. — То есть она, значить... была... она... сначала-то... А потом... значить... Этот... штаны распустил... и все... Ушла, значить... кожа-то...

— Что значит «ушла»? — как-то по-особому тихо спросил начальник. — Да на нем же этой кожи метров пять было, как минимум. Да вы же его, падлу, за яйца должны были держать восемью руками, глаз с него, падлы, не спускать!

— Так мы... это... не спускали, — оправдывались охранники, — а он, ну как Кио. Раз — и, как говорится, бздык. То есть, извиняемся, выкинул. В смысле, выбросил. Кто же от его такой прыти ожидал? Толстый, вроде, тучный.

Дальнейших объяснений начальник уже не слышал. Мысленно он был очень далеко — на ковре у генерала. И судя по его побледневшему лицу, генерал говорил ему какие-то неприятные и, может быть, даже нецензурные слова.

Придя в себя после мысленной беседы с генералом, начальник оскорбил площадной бранью переминавшихся с ноги на ногу милиционеров и попробовал позвонить прокурору, чтобы получить ордер на арест. Тот, как назло, уехал на рыбалку. На выходные. В ожидании прокурора папу посадили в КПЗ. Вечером от него пришла трогательная весточка: «Прашу ни валнаваца — я в тюрьме. Внезапна схвачен органами правосудия. Жгите продукт. Уничтожайте мебел. Фсе равно нам уже ни чему этому не достанеца. Пока ишше ваш Лева».

Ночью над сараями начал пробиваться легкий дымок. Дымок набирал силу, разрастался и вскоре накрыл собой весь город. Воздух приобрел специфический обувной привкус. Это дядя Абраша палил папину кожу. Спалив все дотла, он рьяно



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



взялся за антикварно-мебельное содержимое квартиры. Все трофейное великолепие разрубалось, разбивалось и разлеталось мелкими брызгами. Через час вспотевший от тяжелой работы дядя Абраша с удовлетворением оглядел учиненный им погром и пробормотал: «Ну тепер, кажеца, действительно все!»

Утром пришли хмурые люди в шинелях и произвели обыск. Кроме пепла, гари и маминых слез ими ничего обнаружено не было. Отец дал подписку о невыезде и каждый день, как на службу, ходил в прокуратуру, где его, как он говорил, «с пристрастием допытывали». Ложась спать, он приговаривал: «Если они думают, что они обо мне что-то узнают, так они сильно хорошо о себе думают». Так продолжалось несколько месяцев.

Наконец был назначен день суда, к которому папа начал тщательно готовиться — обрил голову, перестав при этом бриться, вынул вставную челюсть и прекратил есть. Когда он вошел в зал суда — лысый, небритый, худой, без зубов, но с иконостасом заработанных на войне орденов и медалей, в зале воцарилась мертвая тишина, которую нарушало только мерное позвякивание отцовских наград. Судья — старый, повидавший много на своем веку страж порядка, — невольно привстал. Прокурор опустил глаза. Народные заседатели стали усердно сморкаться в платки. Адвокат произнес упоительную речь, из которой даже я, тогда еще совсем пацан, понял, что папу не сажать — награждать надо! Судья, размазанный адвокатской речью по стенке, дал папе последнее слово, и папа сказал.

Он сказал:

— Граждане судьи! Если я виновен... Если я виновен, — повторил он с некоторым сомнением в голосе, — судите мне беспощадно по всей строгости наших гуманных законов. И пусть я буду сидеть в тюрьме и работать там на благо наша великая отчизна. Если же нет — так нет.

Папе дали год условно. Он пришел домой, побрился, вставил челюсть, поел, выпил бутылку водки, прошелся по разгромленной квартире и сказал:

— Если бы я знал, что все закончится, как закончилось, разве я бы позволил Абраше так бесчинствовать?

748

ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

# Глава восьмая,

в которой я отдаю родине  
долги и рассказываю о своей  
матери

Е

сть мнение, что нет в нашей стране гражданина, который не посчитал бы честью для себя послужить на благо Отечеству, то есть потянуть солдатскую лямку. Я составлял печальное исключение. Я был уверен, что мое служение Отечеству вряд ли принесет пользу как Отечеству, так и мне. Отечество же так не считало. У Отечества было свое, особое мнение по этому поводу. И потому, получив призывную повестку, я не стал спорить с Отечеством. Я просто позвонил домой.

— Мама, — сказал я, — завтра я ухожу в армию.

— Что значит «ухожу в армию»? — не поняла мама. — У тебя что ж, других дел нет? Что за глупости такие?!

— Мама, — сказал я, — я ухожу не потому, что я так хочу. Есть закон. У нас в Конституции записано, что каждый гражданин должен отдать родине священный долг.

— Какой долг, что за долг, что ты мне голову морочишь? — не унималась мама. — Еще неизвестно, кто кому должен. Насколько я знаю, ты у нее ничего не занимал. По моим подсчетам, так это она тебе еще должна.

Моя бедная родная мама... Как-то приехала она к нам в гости. К тому времени мы уже давно жили в Ленинграде. Нам захотелось удивить ее, и мы повезли маму в Петродворец. Фонтаны, каскады, статуи, бронза, Монплеизир — что там говорить: цари знали, что такое дача.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

— Ну как, мама? Нравится? — спросил я ее слегка покровительственно, словно всю эту роскошь сотворил только что лично.

— Сыночка, — тревожно сказала мать, — где здесь туалет?

— Да погоди ты, мама. Какой туалет? Ты посмотри, куда мы тебя привезли. Ты этого нигде больше не увидишь.

— Где туалет, сыночка? — чуть нервозней спросила мама, и я понял, что она находится в критическом состоянии.

С большим трудом в самом конце огромного парка мы наконец нашли полуразвороченное, обтрепанное каменное строение, которое источало весьма неприятный для благородного носа запах. Да и весь близлежащий ландшафт выглядел не лучше. Это были парковые уборные. Цари их явно не посещали, но мама влетела туда истребителем. Зато выпорхнула оттуда легкокрылой бабочкой. Осмотрелась вокруг и сказала:

— Боже, какая здесь красота!

Несмотря на мамино негативное отношение к службе, на следующий день я перешел через дорогу в армию. Именно перешел, так как в те времена я снимал комнату в Лефортове. Аккурат напротив Дома офицеров, в котором базировался ансамбль Московского военного округа, куда я и был призван. После отбоя я, не мешкая, отправлялся домой, где предавался отдохновению и медленно приходил в себя после армейского дня. Меня подташнивало от военных маршей, песен, плясок, а также обилия погон и грубых мужских лиц. Хотелось окунуться в атмосферу комфортности, уюта, благозвучий и ласковых женских рук. Я переодевался в чистое белье (как отважный матрос перед гибелью корабля), зажигал свечи и предавался с приглашенной леди умеренному разврату, запивая его легким вином под музыку Баха.

Это была самая беззаботная полоса в моей армейской жизни. Но, как известно, нет такого начала, у которого не было бы конца. Конец, как ему и положено, наступил внезапно. Ранним утром, пережевывая в памяти прелестные детали проведенной ночи, с блуждающе-похотливой улыбкой на устах я открывал дверь уже ставшего родным Дома офицеров. Как вдруг... О, это такое знакомое русскому человеку «как вдруг»...



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

...как вдруг жесткий голос вторгся в мои блаженные воспоминания.

— Товарищ солдат, почему у вас хлястик на шинели расстегнут?

«Патруль», — пронеслось в голове.

— Простите, — заискивающе сказал я молодому лейтенанту, — сейчас застегну.

— Ну-ка подойдите ко мне, товарищ солдат.



**Мать и отец.  
Такими я буду  
их помнить  
всегда**

Что ему во мне не понравилось — ума не приложу.

— Дышите.

Я дыхнул. На лейтенанта пахнуло «Совиньоном», женскими духами и баховским клавесином. Растленный запах смутил лейтенанта.

— Вашу увольнительную, — потребовал он.

Это прозвучало как приговор, не подлежащий обжалованию. Зная, что мне просто надо перебежать через дорогу, я не только никогда не брал увольнительную, но даже не знал, как она, болезная, выглядит.

Вечером я уже топтался в полутемной комнатке строевой части мотострелкового полка одной очень прославленной дивизии.

— Да-а! — сказал мне небритый капитан, по возрасту годящийся в маршалы. — Лучше бы ты, парень, в тюрьму попал.

После такого теплого напутствия я понял, что ружье удачи дало осечку. Надо было как-то выкарабкаться. Я вышел на плац. По плацу взводами и отделениями теней отца Гамлета маршировали запуганные до смерти новобранцы.

— Солдатушки — бравы ребятушки, — пели они, вздрагивая от каждого ефрейторского окрика, а уж при встрече с офицером от страха и вовсе были готовы вознестись к небесам. Форма висела на них так, что впору было выставить их на огороде вместо пугал.

— Мы не ра-бы! — вспомнил я. — Рабыни мы!

Ко мне подошел старшина Гусейнов и с сильным тюркским акцентом спросил:

— Артысть?

— Артист.

— Я тибье иф тюальетэ запашю, — протюрюкал он с ухмылкой.

— Ты, чебурек сраный! — аж покраснев от благородного негодования, вскипел я. — Мы еще посмотрим, кто кого запашет!

Той же ночью я собрал в Ленинской комнате весь наличный сержантский состав (памятуя о Гусейнове, подбирал командиров исключительно со славянским типом лица) и дал им силами меня большой праздничный концерт. С тех пор Гусейнов обращался ко мне только на «вы».

Два месяца моего дальнейшего пребывания в роте сопровождались абсолютным и откровенным бездельничаньем. По ночам я продолжал успешно давать праздничные концерты в Ленинской комнате, а днем слонялся по территории, совершенно не зная, чем себя занять. Никогда до этого мое ничегонеделание не было таким объемным. Оно стало носить столь вызывающий характер, что сержанты начали испытывать некоторую неловкость за своего подопечного.

— Старик, — сказали они мне по завершении очередного праздничного концерта, — ты бы автомат для виду разобрал, а то перед салабонами неудобняк.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

«Салабонами» в дивизии называли молодых солдат.

— А кто его обратно соберет? — вежливо поинтересовался я.

— Мы и соберем.

— Нет, пацаны, не надо. Ухожу я от вас. В полковой оркестр.

В моем голосе сквозила постылость. Так могла бы разговаривать только жена, уходящая от надоевшего и старого мужа к горячему юному кобелю.

Военный дирижер майор Чумаков делал неоднократные попытки переманить меня к себе. Я бы и сам перешел, но смущало одно обстоятельство — мое абсолютное неумение играть на каком-либо духовом инструменте. Однако Чумакова это обстоятельство ничуть не озадачивало.

— Ничего, — уговаривал он, — научим. У меня тубист на пенсию уходит. Ты его и заменишь.

— Да как же я его заменю, если я играть не умею? — не въезжал я.

— Так он тебя и играть научит.

— Альберт Иванович, я, хоть убейте, не понимаю: зачем вам это надо? Мне к вам, понятно, зачем — у вас служба халявная. Но вам-то это на кой?

— Видишь ли, Илья, — застеснялся Чумаков, — есть у меня мечтинка (он так и сказал: мечтинка) создать военно-эстрадный оркестр, взять хорошего ведущего... Ты ведь артист вроде...

— Вроде артист.

— Вот я и говорю — взять хорошего ведущего, сделать патриотическую программочку и поехать, понимаешь, по частям. Шухер наводит. Глядишь — и до командующего докатится, что есть такой майор Чумаков. Справишься?

Хотелось майору славы. Ох, как хотелось!

— А как же, товарищ майор. Завсегда!

Сержанты тяжело переживали мой уход. Они настолько привыкли к ежедневным ночным шоу в Ленкомнате, что уже не представляли себе, как скоротают оставшийся до дембеля срок без этого зрелища.

— Эх! — вздыхали они на банкете в каптерке, посвященном моему переходу в оркестр. — Эх! Ну да ладно. Чего уж там... — И разливали тепловатый одеколон по литровым солдатским кружкам.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

# Глава девятая,

в которой я рассказываю  
о ратной службе и награде  
за нее



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

**М**ой приход в оркестр был оз-

наменован представлением меня коллективу, а коллектива — мне.

— А вот это, — сказал майор Чумаков, заканчивая общее представление и переходя на личности, — старший прапорщик Падука. Он и будет обучать тебя на тубе.

И указал на макаронника, еле удерживающегося на стуле.

Когда-то в молодости он работал фотографом в ателье. «Культурная» профессия наложила на него отпечаток непроходящей чопорности. Он никогда, в отличие от других прапоров, не позволял себе вульгарное: «Пойду попить водяры», а говорил только нежное: «А не остограммографироваться ли мне?» А на вопрос, как прошел вечерок, неизменно отвечал: «Полна диафрагмушка. Щелкнул затворчиком раз восемь», что в переводе на язык улицы означало: «Нормалек! Принял грамм восемьсот».

Через неделю после моего прихода в оркестр Падука поспорил на бутылку водки, что за полчаса выпьет полтора литра. Водки же. Кореша дружно включили часы. Падука с честью справился с поставленной задачей и уложился в контрольное время. Но заветную бутылку не получил, так как тут же и очоурился.

Обезумев от горя и выпитого, корешки устроили поминки, не отходя от трупа, уютно расположившись прямо у изголовья. Они соорудили из покойника нечто вроде обеденного

стола и аккуратно разложили на его впалой груди выигранную им бутылку водки, стаканчики и закуску.

Когда их обнаружили, компания нажралась так, что разобраться, кто из них труп, а кто — еще нет, было решительно невозможно. И только опытный судмедэксперт навскидку определил: трупом является этот. И ведь угадал, подлец. Так Падуку и увезли в морг — с останками колбасы на животе и раздавленными там же помидорами.

Я был отлучен от тубы и посажен на большой барабан.

— Играть на нем просто, — успокаивал Чумаков. — У тебя получится. На нем любой идиот сыграет.

Я взял барабан в руки и стукнул по нему колотушкой. Чумаков был прав — нет такого идиота, который не смог бы сыграть на этом замечательно круглом инструменте. У меня тоже получилось. Пополнив собой армию идиотов, я гордо вышагивал впереди полкового оркестра и счастливо выстукивал:

Пум! Пум! Пум-пум-пум!  
Пум! Пум! Пум-пум-пум!

Вечерами же я осуществлял «мечтинку» Чумакова. Я писал сценарий музыкально-драматического эпоса «Ленин и теперь живет всех живых». Премьера состоялась 21 января. Чумаков нервничал, исподтишка поглядывал в зал, и от количества звезд его покачивало.

— Пан или пропал! — бормотал он. — Пан или пропал!

Его волнение напрямую передалось мне. Наконец погас свет, и перед очами генералов, их жен и всякого высокого начальства, на фоне занавеса с огромным портретом Ильича предстал я. Авторитет вождя давил страшным грузом, но ноги почему-то не гнулись. Кое-как я добрался до микрофона и дикторским голосом начал:

— Начинаем концерт, посвященный сорок восьмой годовщине со дня смерти основателя компартии Советского Союза и советского государства, выдающегося деятеля, человека с большой буквы...

И тут меня заклинило.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



Скрипка —  
именно она  
позволяла  
забывать  
о тяготах  
армейской  
жизни



**На концерте артистов  
армейской  
самодетальности,  
данном силами  
артистов армейской  
самодетальности  
для тружеников села  
Нарофоминского  
района Московской  
области.  
Труженики села —  
за фотографом**



**Эти армейские  
сапоги еще не омыты  
водами Индийского  
океана**

— Ленина! — зловеще прошептал стоящий за спиной Чумаков.

Я стоял бездыханный.

— Ленина! — снова прошептал Чумаков, вращая безумными глазами.

Я продолжал героически молчать.

— Ленина!!! — истерически проревел весь оркестр, предчувствуя неминуемое увольнение сразу же по окончании концерта.

— Да я помню, что Ленина, — беззвучно прохрипел я. — Я имя забыл.

Чумаков, щуплый Чумаков, с невесть откуда появившейся силой отбросил меня от микрофона и что было мочи — совсем не по-офицерски, а как-то по-бабьи — завопил в зал:

— Владимира Ильича Ленина-а-а!

Холодный пот стекал с него ручьями. Генералы ничего не заметили. Они вежливо поаплодировали традиционному началу, ожидая, что будет дальше.

А дальше...

А дальше все еще находящийся в полубормочном состоянии Чумаков решил взять бразды ведения программы на себя и вдруг объявил:

— Любимое произведение любимой супруги Ильича — Надежды Константиновны Крупской — романс «Он виноват». Исполняет старший сержант Колодкин.

И облегченно вздохнул, оттого что все так удачно завершилось. Он даже не понял всей скандальности произнесенного. Ну, то, что он сказал: «любимой супруги Ильича», как будто Ильич где-то в глубинке имел еще одну, нелюбимую супругу, — это еще полбеды. Катастрофа таилась в другом. Программа, посвященная создателю советского государства, начинается романсом «Он виноват». И невольно у всякого политработника мог возникнуть вопрос — а в чем виноват? И так же невольно напрашивался ответ — в создании советского государства.

Перед моим взором, величаво покачиваясь, медленно проплыла Колыма. И пока генералы соображали, что к чему, я закрыл собой Чумакова и прогремел артиллерийским раскатом:



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

— Любимое произведение вождя Коммунистической партии бурлацкая песня «Дубинушка»! Исполняет хор. Солист тот же.

И выразительно посмотрел на хор. Даже более чем выразительно.

Хор, стоявший за нашими спинами и уже мысленно прощавшийся с семьями, облегченно вздохнул и гаркнул «бурлацкую».

— Но почему? — удивился совсем уже было успокоившийся Чумаков.

— Но потому! — процедил я. Тут уж было не до субординации.

Больше, к счастью, проколов не было. Концерт бравурно прикатил к финалу. Прозвучал последний аккорд, и на сцену вышел комдив. Находясь в таких непривычных для него условиях, он с трудом подбирал слова.

— Бойцы! — сказал он, но вспомнив, что в зале находятся и женщины, добавил: — И ихуи верные жены! Сегодня на территории Дома офицеров состоялся настоящий народный праздник. Силами дивизии наши талантливые самовыродки изобразили нам здесь искрометное мастерство. И позвольте от имени всех, находящихся здесь, поблагодарить замечательный ансамбль военных солистов за причиненным ими концерт и от лица всего гарнизона выместить благодарность за ихуе мастерство, ихую работоспособность и ихуй прекрасный репертуар.

Чумаков сиял, как галогенная лампа. Шухер пошел. «Мечтинка» осуществилась.

— Поедешь в отпуск, — сказал он. — Куда оформлять?

— В Сочи, — попросил я. — У меня там женщина.

— В Сочи не могу, — отрезал Чумаков. — Или в Москву, откуда призывался, или в Кишинев, к родителям.

— Ладно, — сказал я, — давайте к родителям. В Сочи я контрабандно слетаю.

И стал готовиться к нелегальному отъезду. И вот пришел долгожданный день, и старенький толстопузый «Ан-10», поскрипывая и попердывая, помчал меня навстречу очередному приключению. Когда лайнер приземлился, запах мимоз и теп-



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

ла едва не сбил с ног. Уже успев привыкнуть к казарменной эстетике, я был потрясен цветением весны и другой жизни. Я попал в другое измерение, и в этом другом измерении меня встречала — не побоюсь этого слова — красивая женщина. Длинноногая и беловолосая, она возвышалась над толпой, как королева. И то, что королева встречала меня, забаванного рядового в/ч 21038, — казалось чудом.

«Чумаков бы увидел, каков бабец — застрелился бы!» — с гордостью подумал я.

— Я заказала тебе номер в гостинице, — сказала Надя. — Рядом с морем. Ничего?

— Конечно, ничего, — ответил я, уже позабыв, что существуют, оказывается, такие замечательные слова, как «гостиница», «номер», «море».

Мы вошли в вестибюль.

— Паспорт! — каркнула администраторша из гостиничного окошка.

— У меня нет паспорта. Я военнослужащий, — произнес я. — Есть военный билет.

— По военному билету только с разрешения военного коменданта. Идите к нему, — снова прокаркала администраторша.

Фейерверк медленно тускнел. Встреча с комендантом никак не входила в мои планы. Так как отпускные документы были оформлены в Кишинев, то всякое уклонение от маршрута считалось дезертирством, о чем я и сказал Наде.

— Ничего страшного, — отреагировала она, — я знаю этого коменданта.

И попросила разрешения позвонить. Администраторша милостиво позволила. Конечно, комендант, как настоящий джентльмен, не мог отказать Надежде. Минут через двадцать мы уже сидели в его кабинете.

— Давайте ваш билет! — сказал он, съедая мою женщину глазами.

Я дал.

— Так! — сказал он, взяв билет и продолжая доедать Надю.

— Билет у вас в руках, — вежливо напомнил я.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

— Ага-ага! — спохватился тот, открыв наконеч мой документ. Глаза его полезли на лоб.

— Так вы рядовой? — изумленно спросил он.

— А кто же я, генерал, по-вашему? — не понял я.

— А Надежда Петровна сказала, что вы лейтенант.

— Да какой я лейтенант? Обычный рядовой, — ответил я, недоуменно глядя на Надю.

Та в свою очередь тоже ничего не понимала.

— Извини, — пожала плечами она, — я была уверена, что ты лейтенант. Как минимум.

Мне, конечно, польстила Надина уверенность в моем стремительном продвижении по служебной воинской лестнице, но на ход событий это не влияло.

— По идее, — продолжил комендант, — я должен посадить тебя в поезд и этапом отправить в Москву, где на тебя будет заведено уголовное дело.

Поняв, что перед ним не офицер, а всего лишь несчастный солдатишко, комендант потерял ко мне всякое почтение и с уважительного «вы» перешел на презрительное «ты».

— Но вы же не сделаете этого. Вы не посмеете этого сделать! — драматически воскликнула Надя.

Комендант посмотрел на нее с сожалением, не в силах понять, как такая роскошная фемина могла опуститься до уровня общения с таким чмом, каковым я ему казался. «Дура ты безмозглая! — читалось в его взгляде. — Дура ты, дура!»

— Так не сделаете? — снова патетически воскликнула Надя.

— Да чеши ты с ним, куда хочешь, — презрительно сказал он. — Но учти, еще раз попадешься — сдам, не задумываясь.

— Ну-с, что будем делать, Надин? — спросил я, когда мы вышли из комендатуры.

— У моей подружки есть маленький домик на берегу моря. Я на всякий случай взяла ключик. Видишь, пригодился.

Меня всегда поражала женская предусмотрительность. Мы двинулись в сторону домика. Сказать, что подружкин домик был маленьким, значит ничего не сказать. И вообще меньше всего он напоминал домик. Когда мы подошли к месту, Надя



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

горделиво показала рукой на старый, много повидавший в своей обжаренной жизни сортирчик и сказала:

— Вот он.

— Кто? — не понял я.

— Домик.

— Вот это место общественного пользования ты называешь домиком? — спросил я с некоторой долей брезгливости.

— Но другого все равно нет. Чего ты капризничаешь? — резонно заметила она.

В сортирном домике невозможно было потеряться. Войдя в него, мы сначала уперлись лбом в противоположную стенку, а потом свалились на пол, оказавшийся постелью. Это было хитроумное устройство. Человек, не знакомый с географией сортирного домика, открыв дверь, автоматически обрушивался на постель, не предполагая, что таковая валяется прямо под ногами. С другой стороны, это было очень удобно: попадая в такую постельную мышеловку, женщина — независимо от того, хотела она этого или нет, — стремительно приходила в горизонтальное положение. Так что главным для пылких местных кавказцев было довести курортницу до домика, а все остальное ничего не подозревающая будущая партнерша быстро доделывала сама. Кавалеру оставалось только вовремя открыть дверь и галантно пропустить даму вперед.

В этом подозрительном будуаре мы провели три сопливо чувствительных дня, после чего мне надо было собираться в дорогу. Прощание было грустным.

— Я знаю, что мы больше никогда не увидимся, — говорила Надя.

— Да брось ты, — хорохорился я, — увидимся, чего там.

Однако интуиция не подвела Надю. Это была наша последняя встреча.

Когда я прибыл в родную часть, казенные стены не вызвали в моей неблагоприятной душе сентиментального отклика. Скорее, наоборот. А тут еще начался сезон штабной охоты на музыкантов. Начштаба подполковник Акулов считал оркестр гнездом диссидентства в нашем показательном полку.

— Я раздавлю эту джазовую гидру капитализма своими



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

мозолистыми ногами и руками, — гремел он на летучке.

И делал соответствующее движение сапогом, как бы втирая в землю это вонючее животное.

Примерно раз в месяц он вероломно врывается на территорию оркестра и с криком «Всем стоять!» устраивал грандиозный шмон в поисках компромата. Но неожиданные облавы не давали положительных результатов. Оркестр был отвратительно чист, если не сказать — стерилен. В социальном смысле, конечно.

«В чем причина?» — спросите вы.

А в том, что ровно за час до шмона начальника штаба бдительный майор Чумаков устраивал свой.

Откуда такая интуиция? — снова спросите вы и будете правы. Между тем секрет прост: Чумаков на одну восьмую был цыганом. Его прабабушка, будучи девицей, согрешила не то с конокрадом, не то с коноводом, не то просто с конюхом, впоследствии оказавшимся цыганом.

В минуту опасности колдовская цыганская восьмушка как бы сигнализировала Чумакову: «Осторожно, звездац не за горами!» А уж тогда оставшиеся нецыганские семь восьмых подсказывали ему: «Вперед, на опережение звездаца!» Начштаба был бессилен перед магической цыганской восьмушкой и потому всегда запаздывал.

В предчувствии очередного начштабовского налета Чумаков время от времени появлялся в зоне оркестра для личного осмотра на предмет нахождения опальных вещдочков диссидентства до того, как их обнаружит сам Акулов. Сапожные щетки, ножницы, печенье, письма — весь нехитрый солдатский скарб, который мы прятали в тумбочках — разлетался по спальне веселым фейерверком...



**Станиславский.**  
Константин  
Сергеевич.  
Великий  
театральный  
режиссер,  
к сожалению,  
умерший  
задолго  
до моего  
рождения.  
Как мне  
не хватало  
порой его  
дружеского  
совета!  
1973 год





ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

Вместе с нами музыкантскую ляжку тянул пятнадцатилетний мальчик, воспитанник Чупиков. Мать его работала в посольстве за границей и, справедливо опасаясь тлетворного влияния улицы, списала его в оркестр. Музыкантом Чупиков был никудашным. Его музой была живопись. С натуры рисовать он не умел, а вот срисовывал вполне прилично. По сути дела он был еще ребенком и больше всего любил картинки из детских журналов. В его тумбочке валялись груды скопированных изображений колобков, курочек, свинок, хомячков и прочей живности. Чумаков, видя упорное нежелание воспитанника овладеть вверенным ему тромбоном, решил занять его хоть каким-то делом и попросил Чупикова оформить самопальную оркестровую стенгазету «Военный музыкант». Два дня и две ночи, спрятавшись на чердаке, Чупиков с упоением отдавался любимому занятию. Наконец газета была готова, и Чупиков вывесил свое детище на стенд. Лицо его сияло, как надраенная солдатская бляха. Коллектив сгруппировался в предвкушении чего-то необычного. Но то, что мы узрели, превзошло все наши ожидания. Через весь газетный лист Чупиков огромными буквами вывел: «Военный музыкант».

Кроме этих огромных букв на листе больше ничего не было. Да и зачем? Из каждой буквы задорно улыбаясь, торчали все любимые чупиковские персонажи, причем к идеологически выдержанным хомячкам и зайчикам прибавились идеологически чуждые Микки Маусы и Дональды Даки. Чумаков, узрев на щите зооплод чупиковских бессонных ночей, побледнел и спросил:

— Начштаба видел?

— Еще нет! — гордо ответил Чупиков, разделяя с майором ту радость, которую только предстояло испытать Акулову при встрече с этим шедевром батально-газетной живописи.

— Точно не видел? — очень тихо спросил Чумаков.

— Точно, точно! — подтвердил юный мастер кисти, скромно потупив взор.

Чумаков впал в транс и начал цвести. В течение нескольких секунд мы имели редкую возможность наблюдать удивительную игру красок. Торжественно-красный превратился в

лиловый, лиловый перешел в зеленый, который сменился оранжевым, а затем глубоким синим. Оркестр восхищенно молчал, наблюдая это удивительное зрелище.

Понятно, что после случившегося Чупикову было строго запрещено рисовать, и он вынужден был творить в обстановке строгой секретности. Причем, что следует отметить особо, с фауной было покончено. Чупиков решительно перешел на изображение хомо сапиенс, что его и погубило.

Следующий шмон Чумаков начал непосредственно с чупиковской кровати и, приподняв матрац, сразу же обнаружил под ним крамолу — два больших ватманских листа. Осторожно, как гадюку, он взял в руки один из них, приблизил его к очкам и, оглядев нас, удовлетворенно сказал: «Ну вот!» Мол, этого и следовало ожидать. Весь, так сказать, ход событий указывал на то, что неминуемо должно было случиться. И случилось! Повернув лист так, чтобы всем было видно, Чумаков ткнул в него пальцем и победоносно сказал: «Сиська! Сись-ка!»

Чупиков молчал.

— Ведь это же сиська, Чупиков? — не унимался майор. — Вы ведь не будете меня убеждать, будто это простреленная грудь раненого бойца? Сиська, она и в армии сиська.

Чупиков продолжал молчать, медленно умирая.

— Так-так-так, — торжествовал майор, извлекая из-под матраца следующий лист, — посмотрим, какой нам еще выкидонс Чупиков приготовил.

Содержимое второго листа его уже совсем не удивило. Он был бы разочарован, если бы оно оказалось более приличным.

— Пожалуйста! — сказал он. — Смотрите все! Смотрите, кто еще не видел! Не знаю, как вам, а мне почему-то кажется, что это сильно смахивает на жопу.

И, чтобы убедиться в скабрзности картинки, снова приблизил ее к очкам.

— Жопа! — кратко подвел он итог увиденному. — Ведь жопа, товарищи солдаты?

— Жопа, — хмуро подтвердили товарищи солдаты.

Чумакова стало раздражать молчание Чупикова.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

— Я вас спрашиваю, — грозно обратился он к нему, — жопа это или не жопа?

— Никак нет, товарищ майор, — тихо ответил Чупиков, — это не жопа.

— Ах не жопа! — хмыкнул майор. — Интересно узнать, что же это тогда?

— Рубенс! — ответил Чупиков, вскинув голову, точь-в-точь как на известной картине Иогансона «Допрос коммунистов».

— Мандауенс это, а не Рубенс! — сурово сказал Чумаков. — Вы что, Чупиков, думаете, что если я — майор, то у меня и мозгов нет? Что же я, по-вашему, Рубенса от жопы не отличу?

— Это Рубенс! — отчеканил Чупиков. — Я его из «Огонька» вырезал.

И, вытащив из кармана сложенный журнальный лист, показал его Чумакову.

Чумаков терпел фиаско. А проигрывать какому-то молокососу Чумакову не хотелось.

— Я вам вот что скажу, Чупиков, — произнес он. — Я, конечно, как человек с консерваторским образованием, понял, что это Рубенс. Потому что у меня за плечами не только консерватория с красным дипломом, но и голова. Но возникает вопрос: а если бы этого вашего долбаного Рубенса нашел бы не я, а начштаба, этот козел в погонах, он бы что сказал? Не знаете? А я знаю. Вот это, он бы сказал, сиська, вот это вторая сиська, а вот это жопа. И что я ему отвечу? Что жопу Рубенс нарисовал? Да насрать ему на этого вашего Рубенса триста раз. Он меня на ковер вызовет и скажет, что майор Чумаков у себя в казарме бордель устроил и порнографию разводит. Вот вам и весь сказ. И у кого партбилет заберут? У Рубенса? А, Чупиков? Молчите? Потому что знаете — у Чумакова партбилет заберут. Эх, Чупиков, Чупиков. Пригрел я гадину на груди.

И, махнув рукой, вышел.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

# Глава десятая,

в которой рассказывается  
о внезапно постигшей меня  
болезни

# Я

сделал удивительное открытие: под маской тонкой музыкальной натуры Чумакова скрывалась отвратительная харя рьяного службиста. Надо было делать ноги.

В то дивное время хирургическим отделением дивизионного госпиталя заведовал подполковник Кишаян, певун, гулена, бабник — артистическая натура, короче говоря. Среди фельдшеров и санитарок он прославился чтением стихов Маяковского в концертах местной самодеятельности. Читал он вдохновенно, громко, и — надо отдать ему должное — получалось отвратительно. Иногда мы встречались с ним за кулисами, и однажды, приятельски похлопав меня по плечу, он сказал:

— Если захочешь недельку-другую отдохнуть от плаца, милости просим к нам на операционный стол.

— Но я здоров, — возражал я.

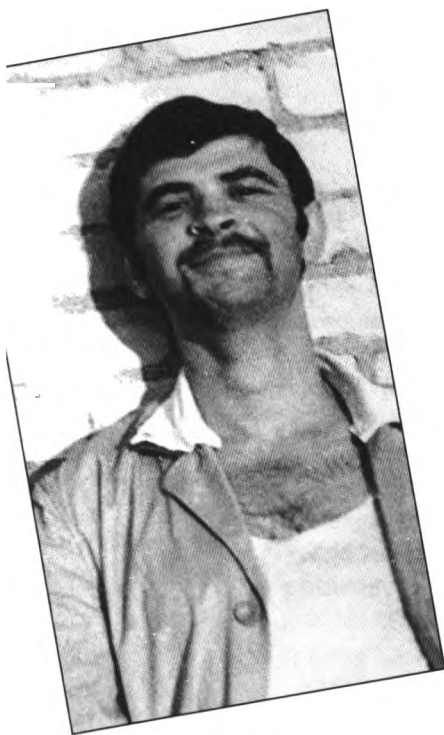
— Все в этом мире относительно, друг мой, — похохотывая, парировал Кишаян и многообещающе подмигнул.

После инцидента с Чупиковым мне стало ясно, что час Кишаяна пробил, и, сказав шефу, что мне надо на минуточку в санчасть подлечить зуб, я рванул в госпиталь. Кишаян оказался на месте.

— Я рад, что ты наконец навестил мою скромную обитель, — театрально возвестил он, но вовремя осознав, что сей пафос никак не стыкуется с сырыми, подтекшими стена-



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



**В госпитале. С тяжелым недугом, внезапно проявившим себя в области колена**

ми его кабинета и невероятно засранным мухами потолком, несколько сбавил тон и уже деловому спросил:

— Чо надо?

Времени у меня было немного, и я, давась словами, второпях пересказал ему трагическую, на мой взгляд, историю Чупикова, которую закончил следующими словами:

— ...так что, вы понимаете, Михаил Изекович, что под начальством такого мудозвона я больше не в состоянии служить.

Кишаян не одарил меня сочувствием. Он был человеком дела. Выслушав мою гневную прокурорскую речь, он ненадолго задумался, а потом прагматично произнес:

— Я тебя с аппендицитом положу. Тебе аппендицит вырезали?

— Нет, — торопливо ответил я.

— Ну и хорошо. Вот я тебя с ним, роденьким, и положу.

Я был доволен понятливостью госпитального хирурга. Меня облачили в пижаму цвета выгоревшей на солнце солдатской кашки и определили койку в палате. Вечером в палату заглянул Кишаян и вызвал меня в коридор.

— Значит так, — сказал он, — с диагнозом «приступ аппендицита» я должен тебя прооперировать. Как ты на это смотришь?

— Хреново, — честно признался я.

— Вот и я подумал: на хрен тебе это надо, — оживился Кишаян. — А посему я твою старую историю болезни уничтожил, а в новой написал, что у тебя мениск.

Я был молод и наивен тогда. И не знал, что означает это загадочное слово — мениск.

— Это пустяк, — успокаивал Кишаян. — Ерунда полная. Всего лишь колено. Точнее, жидкость в колене. Вода в чашечке, понял? Полежишь в гипсе, потом я тебе для виду чашечку эту подрежу и сразу зашью. Месячишко здесь повалешься, затем на реабилитацию домой поедешь, там еще месячишко проведешь — глядишь, туда-сюда, а уже дембель.

Гипнотический шепот врача ублаживал сознание. И вдруг страшная догадка молнией прорезала мой успокоившийся было организм.

— А в санчасть полка уже сообщили, что у меня аппендицит? — вкрадчиво спросил я.

— А как же не сообщить, сынок, — обиделся Кишаян. — Конечно, сообщили. Нам скрывать нечего.

— А теперь, значит, сообщат, что у меня мениск? — не успокаивался я.

— А почему же нет? — искренне удивился Кишаян. — В обязательном порядке. Так и доложим. Мениск, мол. Ничего не поделаешь.

— МихаилIZEКОВИЧ, вы что, действительно не понимаете, что происходит? Я же Чумакову сказал, что иду зубы лечить. Зу-бы!

— Ну и что? — не переставал удивляться Кишаян.

— Как это — что? Я ему говорю, что иду лечить зубы, через час он узнает, что это вовсе не зубы, а аппендицит, а еще через пару часов — что у меня, оказывается, мениск проявился. Фигня получается, товарищ подполковник!

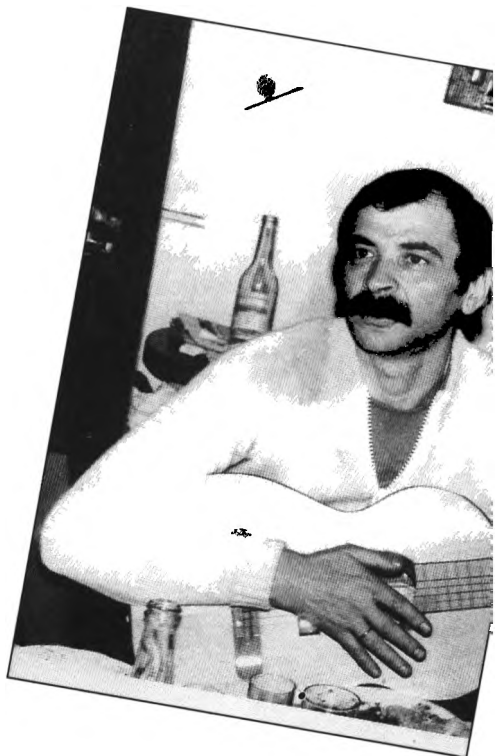
— Кто из нас врач — ты или я? — всерьез начал обижаться Кишаян. — Что ты мне тут разводишь, понимаешь, «фигня-мигня». Медицина — дело темное. Все в ней взаимосвязано. Зубы влияют на желудок, желудок на аппендикс, аппендикс на пах, пах на ноги... Ты же, надеюсь, на ногах ходишь?

— На ногах.

— Ну вот. А еще спрашиваешь — откуда мениск. И хватит об этом. Сейчас сестричка придет. Наколенник гипсовый наложит. Тутр называется.

Я сдался. Тутр причинял некоторые неудобства. Он настолько плотно обжигал ногу, что ее невозможно было со-

**Закончив службу, я вернулся в Кишинев, где предстал пред светлые очи художественного совета местной филармонии на предмет приема меня на работу. Худсовет внимательно прослушал меня и дружно сказал: «Никогда!» Я был выброшен за борт искусства на полтора года. Тут не хочешь — запьешь. А где водка, там и песня...**



гнуть. Поэтому при ходьбе ее приходилось выбрасывать, как костыль, далеко вперед, и походка приобрела фанфаронски-петушиный характер. Но это еще было полбеды. Самое неприятное заключалось в том, что коленка под тутром отчаянно чесалась. Пытаясь пробраться внутрь для вожделенного акта почесывания, я потихонечку расковыривал девственную поверхность гипсового покрытия и наконец расковырял ее так, что тутр стал болтаться на ноге, как флаг на древке во время сильного ветра. Иногда он и вовсе спадал. Возвращая его в исходное положение, я украдкой озирался по сторонам, пытаясь обнаружить наблюдающий за мной исподтишка циничный шпионский глаз чумаковского резидента. Так прошло две недели. Тут приехала проверяющая комиссия, и Кишаян предательски выбросил меня за стены уже столь полюбившегося мне лечебного заведения.



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

Я ковылял в оркестр, с ужасом думая о предстоящей встрече с Чумаковым. Предчувствия меня не обманули. Увидев меня, Чумаков отбросил дирижерскую палочку, как бы порывая с еще неостывшими божественными звуками «Встречного марша», который репетировался до хрипоты каждый день, на случай неожиданного приезда начальства из Москвы, мерзко провякал:

— Ну ты, сука понтовая, покажи ногу, падла!

И, не дожидаясь ответа, чуть ли не зубами разорвал надвое мои крепкие ефрейторские порты. Окончательно раздолбанный от двухнедельного болтания тутр скатился с ноги, и глазам потрясенного майора предстала удивительно гладкая поверхность коленной чашечки, игриво припорошенная белой гипсовой пылью. Всякому было видно, что покой этой глянцева, бело-розовой коленки еще не нарушил хирургический скальпель. Коленка прямо-таки искрилась благодущием и оптимизмом. Она как бы говорила Чумакову: «Посмотри на меня. Посмотри внимательно, и только тогда ты поймешь, что в этом грязном мире есть еще гнезда чистоты и невинности».

Этого Чумаков вынести не смог. Он только сумел крикнуть: «Вон!» и схватился за живот. Я бы с удовольствием наполнил его команду, но она была несколько преждевременна. До дембеля еще было далеко, дней сто пятьдесят.

# Глава одиннадцатая,

в которой я отдаю дань  
прошлому и склоняю голову  
перед Ромой



«З» опрос, конечно, интересный». Помните эту фразу, которая, сорвавшись с телеэкрана февральским вечером, в один миг стала народной поговоркой. Без ложной скромности могу сказать, что я горд. Горд потому, что родителями этой крылатой фразы были я и мой партнер Рома Казаков. Нет, надо не так. Родителями этой крылатой фразы были мы — мой партнер Рома Казаков и я. Так правильней.

Вообще-то звали его Рувка и фамилия Рувки была вовсе не Казаков, а Бронштейн. Так случилось, что задолго до Рувки у этой фамилии обнаружился еще один обладатель — некто Троцкий, ортодоксальный коммунист, у которого были какие-то нелады с Лениным, кстати, тоже ортодоксальным коммунистом. Ну, это-то понятно — у ортодоксальных коммунистов всегда были между собой какие-то нелады. Так вот, у этого самого не ладившего с Ильичом Троцкого фамилия на самом деле оказалась Бронштейн. Согласитесь, товарищи, факт малоприятный. Не уверен, был ли сам Троцкий родственником Рувки, но, как ни крути, и ортодоксальный коммунист Троцкий, и неортодоксальный еврей Рувка — оба были Бронштейнами. Ситуация осложнялась тем, что если по папе Рувка являлся Бронштейном, то по матери (прости меня, Господи!) он и вовсе был Каплан. Как на грех, баба именно с такой фамилией стреляла в не ладившего с Троцким-Бронштейном и уже зна-



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ





Слева мой первый партнер  
Рома Казаков. Каждый  
из нас шел своей дорогой,  
хоть и учились мы в одной  
школе, в одном училище  
и, наконец, оба были  
выгнаны из Ленконцерта  
как профнепригодные.  
Тут-то наши судьбы  
и соединились. Надолго.  
На целых одиннадцать лет



В 1981 году для Володи Винокура  
была написана эстрадная пьеса  
«Нет ли лишнего билетика?».  
В качестве партнеров Володя  
пригласил нас с Ромой.  
Этот спектакль нарушил плавное  
течение нашей жизни. Если  
раньше мы просто выходили на  
сцену и вяло ворочали языками,  
то тут нам приходилось петь,  
танцевать, стоять на голове,  
висеть на ушах и т.д. и т.п.  
Венцом унижения стал для  
нас номер, пародирующий  
«Умиряющего лебедя»



Еще одна пародия из спектакля «Нет ли лишнего билетика?» — на каратэ. Если во время ее исполнения и было кому-то смешно, то не мне: я частенько получал по голове



В спектакле «Нет ли лишнего билетика?» мы появлялись то в роскошных дамских платьях, то в кимоно, то в обезьяньей шкуре. Чем нелепей был прикид, тем вольготней мы себя ощущали. Но стоило нам надеть строгие костюмы, как легкость уходила. Элегантность давалась трудно



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ

когого нам Ленина. Согласитесь, что наличие двух таких, прямо скажем, контрреволюционных фамилий у одного субъекта не предвещало данному субъекту сахарное будущее. Субъекта Рувку спасла девочка, ФИО которой ласкало слух как карательных, так и других органов осязания и обоняния. Ее ФИО была Казакова. Звали ее Вера. Они расписались и сделали неравноценный обмен — она отдала ему фамилию, а он ей свои неприятности. Чего-чего, а неприятностей у него было много. Ими он мог одарить не только Веру Казакову, но и все население Ленинградской области.

В тот период и меня жизнь не баловала блестящими зигзагами и поворотами судьбы. Рома работал сам по себе, я — сам по себе, и единственное, что нас объединяло, это скука и сознание абсолютной не востребованности. Все решилось в одно мгновение у пивного ларька. В двадцатиградусный мороз, когда мы выпили несколько кружек пива приблизительно той же температуры, нам показалось, что если две отдельно взятые бездарности сольются в едином творческом экстазе, то они, эти бездарности, неожиданно преобразятся из двух хреновых творческих единиц в одну, тоже хреновую, но зато очень большую. То есть как бы появилась возможность брать если уж не талантом, то хотя бы массой. Вопреки всем законам логики наша бредовая идея неожиданно материализовалась, и вскоре наша странная пара предстала перед изумленными глазами худсовета Ленконцерта или, как мы игриво называли его между собой, Членконцерта.

Мы начали бороздить моря и океаны эстрадных площадок одной шестой части света. Наши просветленные лица можно было увидеть в любом уголке страны. Сегодня мы бичевали бюрократов на сцене Кремлевского дворца съездов, а завтра уже распевали разящие куплеты про завстоловой в оленеводческом совхозе, где-то там, за северным сиянием. В три часа дня мы балагурили в неотапливаемом клубике женской колонии, а в семь вечера вместе с нами уже веселился медперсонал и больные психбольницы № 5. Этих рассмешить было легче всего.

Мы любили наших зрителей, где бы они ни находились. И зрители отвечали нам тем же — они любили нас. И только

одно омрачало безоблачное существование — то, что так любившие нас зрители начинали любить нас только по окончании концерта. По окончании. А не до. Они шли не на нас. Они шли на некий концерт, в котором участвуют некие артисты. Шли просто так, от нечего делать, от желания убить вечер. Тогда еще ходили на концерты. На все. И на плохие, и на очень плохие.

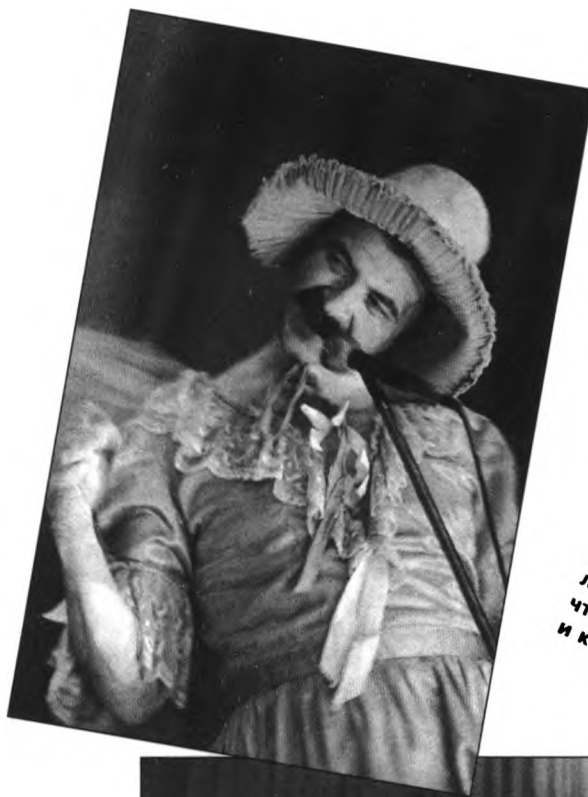
Никогда, товарищи, не верьте артисту, если он говорит, что не стремится к известности. Это или кокетливая неправда, или гнусная ложь. Сама профессия предполагает наличие тщеславия у того, кто решил заняться этим ремеслом. Тщеславие является тем самым кнутом, который подгоняет артиста. Заставляет его работать до седьмого пота, превращает в загнанного раба. Но вот заканчивается фильм, концерт, спектакль (неважно что), падает занавес, зал сотрясают аплодисменты, и артист счастлив. Счастлив как ребенок, потому что он и есть ребенок, а дети любят, когда их хвалят и гладят по головке. Любите артистов, товарищи! Любите, и чаще гладьте их по головке. Вам это ничего не стоит, а им приятно...

Итак, нас с Ромой снедала жажда славы. По ночам нам снился телевизор «Рубин» и мы в нем. Не было ночи, чтобы этот кошмар нас не преследовал. Нельзя сказать, что мы сидели сложа руки. Мы делали всяческие попытки. Мы снимались, и нас снимали.

Но снимали, как правило, в тех передачах, которые потом тоже снимали. Но уже с эфира. Если же передача, в которой мы по чьему-то недосмотру оказались, все-таки появлялась в «тиливизире», то это вовсе не значило, что вместе с передачей в «тиливизире» появлялись и мы. Это значило только одно — что как раз мы в ней и не появлялись. Нас «вырезали» и «вырезали» телередакторы и режиссеры. Фантазии их не было границ — никогда очередная причина сегодняшней «вырезки» не совпадала с предыдущей. То нас вырезали из-за отсутствия звука на съемке, который пропадал как раз во время нашего выступления, а потом чудесным образом возвращался обратно, то портилась пленка, то вырубался свет... Но всему есть предел. Редакторские фантазии стали иссякать. Более того, они начали повторяться. Мы с Ромой были глубоко жа-



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



**Моя первая  
женщина.  
На эстраде**



**Это, очевидно, секретный  
снимок. Во всяком случае,  
лично я не знаю, где это,  
что это, почему это,  
и как это**

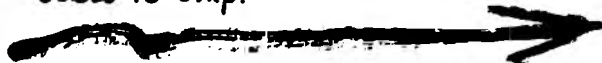


**Рома Казаков, Володя Винокур и я. Дебют на ТВ.  
Славы не принес, зато позора не обобрались**



К празднику 8 марта «Останкино»  
приготовило женщинам чудесный подарок — «Голубой огонек».  
Женщины слезно благодарили  
и так же слезно просили таких подарков больше не делать.  
Трое неотразимых мужчин — ведущие этого «Огонька»  
Анатолий Гузенко, Ефим Шифрин и я.  
1986 год

До встречи в «Торжке»  
всего 10 стр.





В мартовском  
«Огоньке»  
мы с Гузенко  
много шутили.  
И все как-то  
невыпадало.  
На фотографии —  
съемки очередной  
неудавшейся  
шутки

Мой  
очередной  
партнер  
Владимир  
Границын и я  
на съемках  
новогоднего  
«Голубого  
огонька».  
Пусть вас не  
удивляют  
наши жуткие  
рожи: ведь мы  
— не мы, а  
инопланетяне.  
По замыслу  
режиссера.  
1987 год



лостливыми людьми, и дело дошло до того, что мы сами предлагали работникам эфира и ножниц версии, по которым они тут же, не сходя с места, могли бы достоверно и необидно объяснить нам очередное наше отсутствие в только что отснятой программе. Однажды, после очередной «вырезки», мы устроили тризну по себе, по окончании которой я сказал:

— Не кажется ли тебе, Ромик, что нам пора проанализировать истоки наших неудач?

— А чего тут анализировать, — мудро ответил Рома и, зевнув, начал отходить ко сну.

— И все-таки почему бы не проанализировать? — не успокаивался я.

Рома был умным. Он знал и помнил все, что только мог знать и помнить эрудированный, начитанный сын Бронштейна и Каплан. И даже чуть больше. И потому он сказал:

— Да нечего тут анализировать. Все и так понятно: два жида в три ряда — вот тебе и весь анализ.

— Значит, ты, Рома, настаиваешь, что неприятности идут от того, что в нашем дуэте всего два человека и из этих двоих — оба евреи?

— Настаиваю я на лимонных корочках, — сказал умный Рома, уже засыпая. — Но уточняю: не просто два, а двое из двух. Ты понял? А два еврея из двух — это уже перебор.

И тут меня осенило.

— Рома! — сказал я. — Рома, вот ты говоришь, что два еврея из двоих это перебор. А я тебе, Ромик, больше скажу. Даже один из одного — это уже перебор, причем чудовищный.

Но Ромка этого не слышал. Он спал, этот умный маленький человек. Он знал, что когда трудно, лучше поспать. Глядишь, проснешься утром — и все пучком.

И все-таки мы продолжали этот неприступный форпост, именуемый «Останкино». Задницей ли, локтями, ногами, головой ли — это неважно. Важно, что продолжали. Я думаю, что Господь, наблюдая за нашими мучительными безостановочными попытками взобраться на проклятый Олимп и видя, как мы, падая, каждый раз обдираем до крови кожу, испытал некоторую неловкость. Он, наверное, подумал: «Ладно, хорош! Так ведь и изувечиться недолго», и дал разрешительную от-



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



машку. Я благодарен Господу за его мудрый поступок. Говорю это без всякой иронии. Я благодарен Господу за поддержку, потому как в той стране и в той ситуации помочь нам мог только он.

Итак, Господь переключил красный свет светофора на зеленый, и у нас поперло. Мы появлялись в самых популярных передачах. Нас начали узнавать. Когда у меня впервые попросили автограф, я от неожиданности отпрыгнул, приняв за сумасшедшую эту тетеньку с ручкой и записной книжкой. Мы с Ромой почувствовали первые чуть теплые прикосновения лучиков славы.

И вдруг все кончилось. Ромка ушел. Нелепая смерть. Всякая смерть нелепа, но эта казалась мне самой нелепой и нелогичной.

Его выписали из больницы. Он поселился у старушки. Старушка была одинока, Ромка тоже, и она полюбила его как первенца. Она ухаживала за ним, она убирала за ним, она готовила ему еду, и он, видя старушечьи старания, тоже, по-своему, пытался о ней заботиться, хотя она в его заботе не нуждалась. Это была железная бабушка. Долгие стояния в очередях за всем, что дают (от куска колбасы до справки в жэке), сделали ее бессмертной. Лет ей было около восьмидесяти, но, глядя на нее, становилось понятно, что дева в белом саване и с косой давно потеряла всякую надежду прибрать ее к себе. Я был спокоен, я понимал, что железная бабушка разобьется в лепешку, а Ромку выходит. К сожалению, я ошибся. В одну гнусную ночь прозвенел звонок и в телефонной трубке раздался отчаянный бабушкин голос:

— Ромочка умер.

Я почувствовал, как ноги стали ватными.

— Ромочка умер, — снова сказала она. — Книжку читал, потом вздохнул, книжку выронил и умер. А книжка на полу валяется.

Я ничего не соображал.

— Как умер, от чего умер?

— От сердца. Вон «скорая» приехала. Говорят, сердце не выдержало.

Утром я приехал к Роме. Он лежал в спортивных штанах и



ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



**Моя кинокарьера не сложилась. Снялся я в двух фильмах, и оба, надо отдать им должное, были ужасны. Первый назывался «Приморский бульвар» и был показан по ЦТ. Во время показа я испытал стыд, приближающийся к женскому. Утешало только то, что я весь фильм проболтался на больничной койке в самом дальнем углу палаты, героически не произнеся ни единого слова. В середине этого кино кошмара меня выпустили минуты на полторы прогуляться по территории больницы. Вместе со мной был выпущен сосед по палате, которого играл артист Павловский из Севастополя. Вот этот дивный игровой момент и запечатлен на фотографии**



**Актриса Людмила Хитяева,  
которую я, вжившись в роль, пытаюсь соблазнить.  
Попытка не удалась.  
Кинофильм «Влюбленный манекен»,  
1981 год**

синей рубашке. Но это уже был не Рома. Мне казалось, что передо мной лежит памятник. Торжественный и величественный. Даже рубаша, казалось, была сделана из мрамора. Санитары накрыли его простыней, положили на носилки, понесли, и вдруг второй, шедший сзади, узнал его.

— Слушай, да это же этот... как его... «вопрос, конечно, интересный».

— Да ты че? — удивился первый, обернулся и уронил Ромку. Ромка лежал на полу, безучастный к восторгам санитаров.

— Ты глянь, — обрадовался первый, — действительно, он.

— Ну вы, козлы, — не выдержал я, — положите его на носилки, пока я вас кочергой не перебил.

Через день Ромку похоронили. После кладбища пили и плакали. Плакали и пили.

Прошло девять лет. На ячейке с Роминой урной сломан заборчик. Фотография слиняла и наполовину отодрана ветром. И только рядом с урной валяется скукоженный искусственный цветок, принесенный кем-то когда-то очень-очень давно...

783  
ИЛЬЯ  
ОЛЕЙНИКОВ



**Михаил Светин и я в том же фильме  
«Влюбленный манекен».  
Севастополь. Июль. Жара. Пыль. Мухи.  
Команда: «Мотор!». Зачем?**

# Глава двенадцатая,

которую я решил назвать  
«Здравствуй, Юра!», так как  
в ней наконец появляется  
Стойнов



Илья  
Олейников

**К**ак-то погожим июньским

утром, когда я, отпаиваясь киселем, приходил в себя после тяжело проведенных выходных дней, тишину сознания пререзал телефонный звонок.

— Добрый день! — прощебетал жизнерадостный (то ли девичий, то ли женский) голос. — Это вас с Ленфильма беспокоят.

— Я вас слушаю, — сказал я несколько взволнованной обычного, так как киностудии нечасто баловали меня своим вниманием.

— Мы хотим предложить вам роль Горького в картине...

— Это неважно, в какой картине, — перебил я, — я всю жизнь мечтал сыграть Горького. Как бы сценарий прочитать?

— А вы сейчас приезжайте, — прощебетал все тот же жизнерадостный женский голос.

Через час я уже читал сценарий, развязно развалившись в кресле помрежа. Я читал его очень внимательно, но никаких следов Горького не обнаружил.

— А где Алексей Максимович? — тревожно спросил я.

— Ах, извините, — сконфузилась помреж и протянула засаленную бумажку, на которой карандашом была сделана следующая запись: «Допол. к стр. 32. В каб. Сталина вход. Горький.

Сталин. Товарищ Горький, вот вы написали роман „Мать“?

Горький. Да.

Сталин. А почему бы вам не написать роман „Отец“?»

Стало грустно.

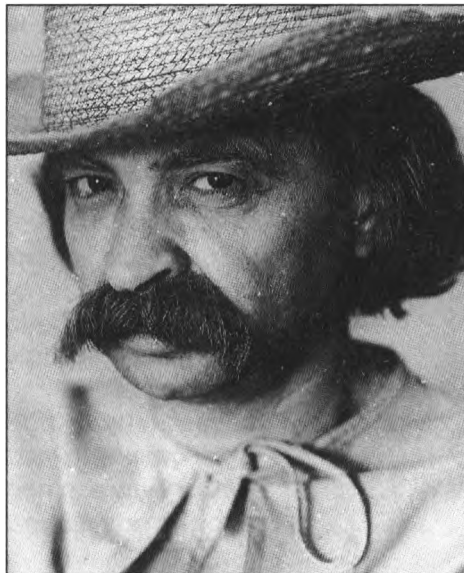
— Это все? — спросил я.

— Ну почему же все? — обиделась помреж. — Виктор Николаевич (так звали режиссера) просил передать, что полностью вам доверяет. Придумывайте все, что хотите. Чем больше, тем лучше.

В преддверии съемок я только тем и занимался, что сочинял комические сценки с участием Горького и отца всех народов, но все это оказалось ни к чему. Виктор Николаевич не отступал от сценария ни на йоту, и любые предложения пресекались им самым решительным образом.

— Это у себя где-нибудь в Жопинске, если будете снимать картину, милости просим — любой бред имеет место быть. Но только там, в Жопинске-Ропинске-Шмокинске. А мы здесь делаем кино. Понимаете — *кино!* Закончились эти пререкания тем, что у меня было отобрано даже междометие «да», которым Горький отвечал на вопрос Сталина, не он ли случайно написал «Мать». В ответ на этот волнующий Сталина вопрос мне, после пререканий, было позволено лишь многозначительно кивнуть. Мол, я написал, а кто же еще?

Судьба так распорядилась, что в эту же фильму на роль Александра I был приглашен Стоянов. Его Александр отличался от Горького только одним: если мой Горький был Великим немым, то стояновскому царю любезно было раз-



**Кинопроба на роль Максима Горького в картину «Анекдоты».**

**В эту же картину на роль Александра I пробовался и Юрий Николаевич Стоянов, тогда еще мне неизвестный. Итог был общий: попробовали — не понравилось**

решено сказать три слова, одно из которых было «мудак». Так царь-батюшка и говорил: «Пошел вон, мудак». Негусто, конечно, для самодержца. Но Стоянов утешал себя тем, что первым в советском кинематографе публично с экрана произнес это неприличное, но такое дорогое российскому человеку слово «мудак». Я бы даже сказал, что он этим гордился.

Фильм снимался летом в парке. Наши сцены отсняли в первый же день, но режиссер настоял на том, чтобы актеры, невзирая на занятость, все съемочные дни находились рядом.

— Зачем? — спрашивали мы.

— А я откуда знаю? — весело отвечал Виктор Николаевич. — А вдруг мне в голову придет какая-нибудь пространственная идея? Чем я буду это пространство заполнять, собаками, что ли? Вами и буду.

Мы с Юрой тихо ненавидели режиссера, и эта тихая ненависть стала первым кирпичиком нашей дружбы.

Как-то, коротая время в межсъемочном пространстве, я притащил сумку. Не буду томить тебя, любезный мой читатель. В сумке не было книг. Отнюдь. Там была водка. В это же время из-за кустов величаво выплыл Стоянов с точно такой же сумкой. Доносившееся из ее недр мелодичное позвякивание приятно будоражило воображение.

— Юра, — сказал я, — зачем эти подарки? Сегодня мой день рождения, а следовательно, пою тебя я.

— Как? — изумился Стоянов. — И у меня сегодня день рождения. Я потому столько водки и взял.

Теперь мы оба изумились. Не сговариваясь, мы вытащили

Т О К

паспорта. Я отдал ему свой, а он мне — свой. Каждый из нас долго и критически изучал паспорт товарища. Сомнений не было. Мы родились в один день и один месяц. Правда, с разницей в десять лет. Но это уже было несущественно.



# Джок

Трогательно, как бы в первый раз, мы осматривали друг друга, радостно обмениваясь похлопываниями по плечу, и с каждым стаканом похлопывания становились все сильнее и радостней, пока на наших плечах не появились два огромных синяка.

Наша судьба была решена.



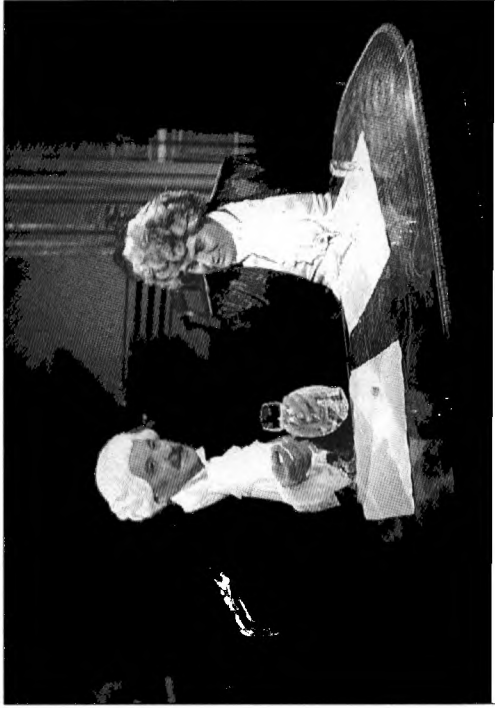






Торголок

Торгок



Наша  
с ОЛЕЙНИКОВЫМ  
жизнь делится  
пока на две части -  
до «Тородка»  
и в «Тородке».

Юрий  
СТОЯНОВ  
До встречи  
в «ГОРОДКЕ»

Мои рассказы  
адресованы всем,  
кому интересно, как  
я жил до основания  
«Тородка».

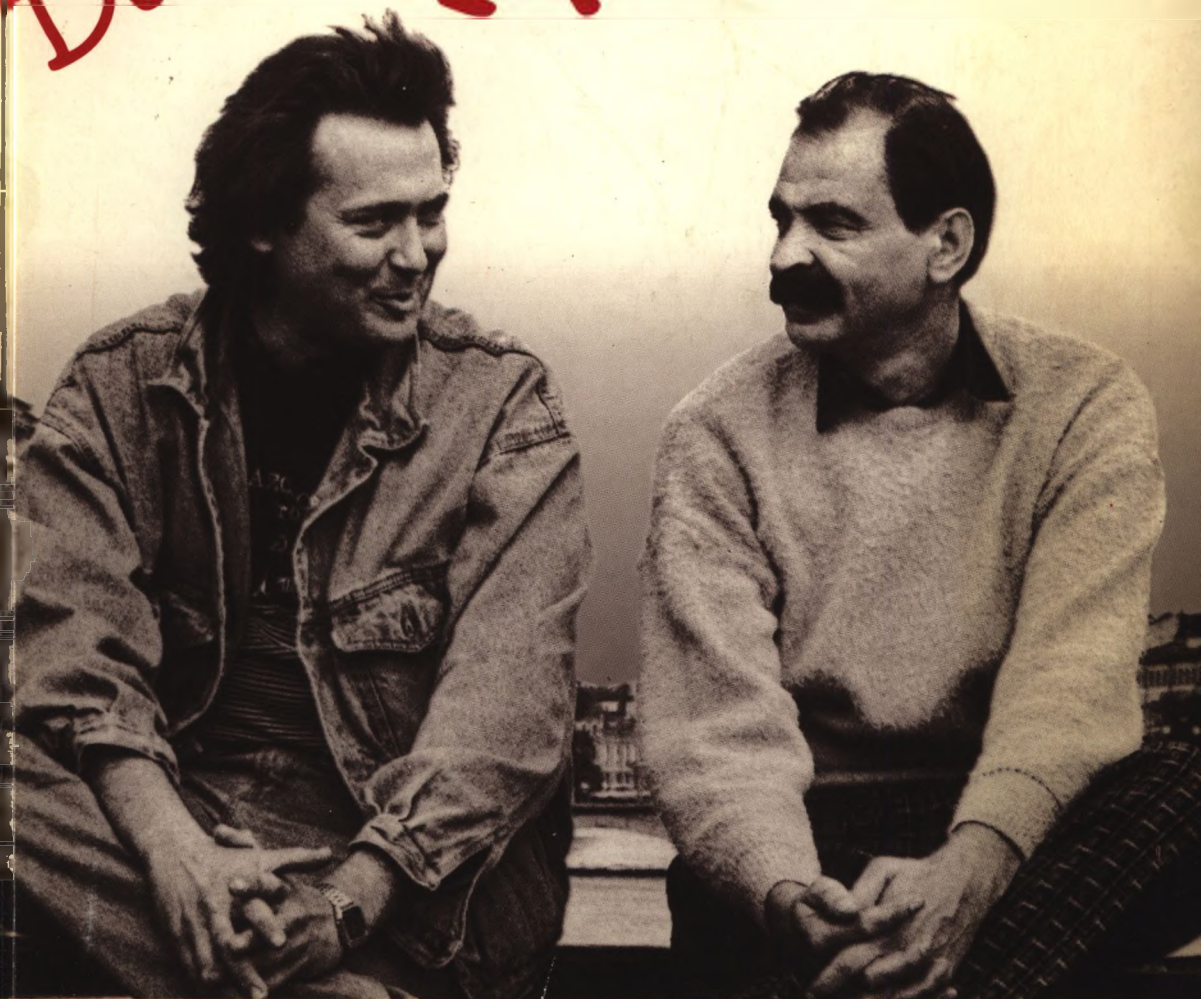
Для того, чтобы  
узнать, как жил  
до этого ОЛЕЙНИКОВ,  
надо просто  
перевернуть книгу.

Ю. Стоянов

Юрий  
СТОЯНОВ

Илья  
ОЛЕЙНИКОВ

До встречи в  
«Торожке»



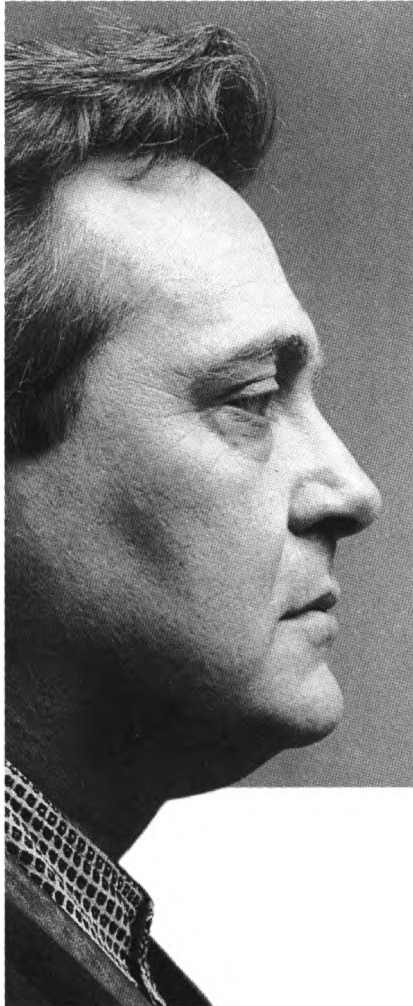


Посвящаю  
моему отцу  
Николаю Георгиевичу  
Стойнову,  
который дал мне  
фамилию, отчество  
и характер,  
и моей маме.

ЮРИЙ  
СТОЯНОВ

До встречи  
в «Торожке»

Художественный фонд  
«ЭЛЕГАНС»  
Санкт-Петербург  
1997



ISBN 5-87334-023-4

© Художественный фонд "Элеганс" 1997г.  
© Ю.Н. Стоянов. Текст. 1997г.  
© Д.М. Плаксин, С.Д. Плаксин. Дизайн 1997г.  
© П.А. Котов, С.В. Нарчук, Л.С. Сидорский,  
Б.Н. Стукалов, фотографии 1997г.

**ТИТРЫ**

Юрий Стоянов  
*До встречи в  
«Торжке»*

Дизайн  
Д.М. Плаксин, С.Д. Плаксин  
Редактор  
С.В. Дружинина  
Художественный редактор  
Г.С. Устинова  
Корректор  
Е.В. Крутова  
Компьютерная верстка  
С.Д. Плаксин

---

Фото на обложке П.А. Котов  
Фото на с. 2, 4, 5 С.В. Нарчук  
Фото на с. 52, 53 Л.С. Сидорский  
Фото Г.А. Товстоногова и сцен из  
спектаклей АБДТ, Б.Н. Стукалов

---

Лицензия № 04772  
от 17.06.96.  
Подписано к печати 29.04.97.  
Формат 70x90<sup>1/16</sup>  
Гарнитура Helvetica  
Печать офсетная.  
Бумага офсетная.  
Усл. печ. л. 13,5. Изд. № 02.  
Тираж 10000 экз. Зак. 5280.

Издательство "Артист. Режисер. Театр."  
Совместно с Художественным фондом  
"Элеганс"  
190000, Санкт-Петербург,  
ул. Чайковского 36, оф. 42.  
Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ОАО «Иван Федоров»  
191126, Санкт-Петербург,  
Звенигородская ул., 11.







# ДЕТСТВО.

## Десять — поль в пользу Олейникова

### Моя первая мыльная опера

**Н**е сговариваясь с Олейниковым, я родился в тот же день, что и он, — 10 июля. Илье в этот день исполнилось десять лет. И когда на сладенькое Илюша поедал традиционный для южного праздничного стола «Наполеон» с компотом, я, наверное, жутко орал в роддоме.

Я помню себя с того времени, когда наша семья жила в Бородино. Прошу не путать мое Бородино с местом исторической баталии. Здесь никогда не бывали Наполеон, Кутузов, Багратион, Милорадович и др. Да и Михаил Юрьевич Лермонтов, сочиняя свое знаменитое стихотворение, не имел в виду деревню Бородино Одесской области. (Недалеко от моего Бородина была еще и станция Париж, и это не про нее Хэмингуэй сказал: «Париж — это праздник, который всегда с тобой». Там и по сей день находится исправительный лагерь для женщин. Вероятно, советские топонимики считали, что все женские пороки имеют французские корни, и потому благословили строительство Парижа за колючей проволокой, где вместо Эйфелевой башни стояла вышка с охранником.)

В нашем Бородино была больничка, в которой мой отец — выпускник мединститута — проходил практику, и была сельская школа, где



ЮРИЙ СТОЯНОВ

учительствовала моя мама. Отец, как говорят в Одессе, «работал в органах», то есть был гинекологом. Но поскольку в Бородино рожали и болели реже, чем требовало его призвание, он лечил всех подряд от всех болезней, а мама, когда требовалось, держала керосиновую лампу в операционной...

Телевизионная секунда состоит из двадцати пяти кадров, а киношная — из двадцати четырех. И мне, человеку, которого всю жизнь игнорировал кинематограф за «неопределенную внешность», ужасно нравилось, что в моем запасе телевизионщика всегда будет на один кадр больше, чем в кино. Так вот. Моей памятью «отснято» приблизительно двести пятьдесят кадров (или десять секунд) из бородинского детства...

Кусок душистого мыла на рукомылке безумно притягивает к себе. Рука тянется к мылу. Ни один фрукт не пахнет так вкусно... Начинаю есть мыло. Вкус не соответствует запаху, все равно ем... Приходит папа. Руки намылить нечем. У меня изо рта торчит обмылок... Далее со мной происходит то, что бывает со взрослыми дядями и с папой, когда они выпивают очень много сухого вина. После этого они обычно говорили: «Полегчало», — и продолжали пить вино. А мне не полегчало... Отец где-то слышал байку, что злые люди делают мыло в том числе и из собачьего жира. В какую-то секунду ему начисто отказали эрудиция и высшее медицинское образование. Если отбросить всю технологическую цепочку мыловарения, получалось, что я — съел собаку!..

Самолет санитарной авиации доставил меня в Одессу... С тех пор я не ем мыло и обожаю собак. И еще: мое детство все-таки не было голодным.

Есть Одесса Бабеля — это район Молдаванки, есть Одесса Паустовского — это Большой Фонтан и центр города, есть Одесса Катаева — это Пересыпь.

И вот мы возвращаемся из Бородино в Одессу, где наш район — Пересыпь — остается таким же, как во времена, описанные в повести «Белеет парус одинокий».



ЮРИЙ СТОЯНОВ

Частный домишко из ракушечника, две комнаты — двадцать восемь квадратных метров, кухня — четыре метра, отопление — печное.

«Удобства» зимой — во дворе, летом — в море. (До моря — метров триста.) Проживали в доме — дед Юра, баба Женя, тетя Варя (папина сестра), мама, папа и я. И была у нас корова Майка. Огромная, коричневая с белыми подпалинами. Очень добрая и умная. Я с ней любил разговаривать. Она давала двадцать литров молока в сутки и поила пол-улицы.

И вот Никита Сергеевич Хрущев в 1960 году (перед самым своим дембелем) издает указ, запрещающий содержать сельскохозяйственных животных в городской черте. Майку нужно было сдать государству. Это я позже узнал про постановление партии и правительства, а тогда казалось, что лично товарищ Хрущев ворует лично у меня мою корову. Впрочем, все это, так сказать, — фон, на котором «отснято» еще несколько кадров из моего детства.

Отдать корову нужно было под расписку на железнодорожной станции в полукилометре от нашего дома. Женская часть семейства рыдала, а мужчины шли небритые, как на похоронах. Из других дворов выводили свиней и коз.

Поскольку Никита Сергеевич сам спровоцировал некоторую свободу слова в стране, то проклинали его громко, всей улицей и сразу на трех языках — русском, украинском и болгарском.



*Жил-был у мальчика  
серенький зайчик,  
жил-был у зайчика  
беленький мальчик.  
И вот что мальчик  
сделал с зайчиком*



ЮРИЙ СТОЯНОВ

Коров загоняли в товарные вагоны. А ночью над Пересыпью раздавалось жуткое мычание. Это плакали от боли недоенные коровы. К ним никого не подпускали — ни покормить, ни подоить. Теперь они были не частные, а государственные.

Я спрашиваю деда Юру:

— Что такое — государственные?

— Ничьи, — отвечает он.

## Как меня калмыки пытали

Отдали меня на Пересыпи в детский сад. Первый день. Завтрак. Кипяченое молоко с пенкой и манная каша. Мы, Юрий Николаевич, этого не едим, не пьем ни под каким видом. Воспитательница говорит:

— Никто не встанет из-за стола, пока новенький все не съест!

Тогда мне привязывают руки полотенцем к стулу и кормят насильно, преподнося первый в моей жизни урок коллективного воспитания.

Давясь кашей, я успел сказать:

— Все, теперь папа вас убьет. Кто не спрятался — я не виноват!

Я не предполагал тогда, что финал детской считалки мог стать эпитафией всему коллективу детского сада завода «Продмаш».

После моего рассказа (мягко говоря, приукрашенного) о пытках, папа всю ночь не спал. Утром он завернул топор в белый медицинский халат, положил это в портфель и повел меня в садик.

Бабушка Женя короткой дорогой через железнодорожное депо первой прискакала в детский сад и, видимо, успела предупредить о грозящей опасности. Когда мы подошли к садику, двери и окна были наглухо закрыты. Тут подросли моя мама, дед и папина сестра Варя. Начались увещевания и причитания, отца потащили к трамвайной остановке, а он кричал в сторону детсада:

— Калмыки! Калмыки! Калмыки!

Вечером мне разъяснили, что означает слово «калмыки». Первыми отцовское село в 1941 году оккупировали румыны. От них можно было



ЮРИЙ СТОЯНОВ

узнать все последние новости «Совинформбюро», так как они ходили по дворам и меняли антифашистские и антирумынские листовки, которые разбрасывались с наших самолетов, на кур, брынзу, молоко и хлеб. После румын пришли немцы. Эти чуть не уволокли отца в Германию, но никого в селе не расстреляли. Некий стукачок-болгарин показал фашистам, где прячется бывший колхозный активист. Активиста выпороли. Стукача — тоже.

А потом в село вошла красная калмыкская дивизия. Эти все разорили, разграбили и перед уходом публично расстреляли парочку недовольных. Так что калмыками для моего папы были не те, кто живет в Элисте, а те, кто грабит, убивает или привязывает детей к стулу, чтобы накормить манной кашей.

## Папа

Мой папа очень не любил считавшийся прогрессивным в свое время фильм «Председатель». Там есть сцена, когда председатель колхоза (замечательно сыгранный Михаилом Ульяновым) решает, кого из выпускников деревенской школы отпустить в город на учебу, а кого — нет.

— Подонки! — говорил папа. Позже я понял — почему.

Отец окончил школу села Благоево в 1949 году с золотой медалью. Паспорта колхозников, по заведенному тогда порядку, хранились в сейфе у председателя, и он высочайше решал, кому выдать паспорт, а кому нет. Николай Георгиевич Стоянов мечтал стать врачом, а председатель мечтал сделать его скотником. Папа удрал в Одессу и устроился на маслозавод. В сапогах, которые были на три размера больше, еле передвигая ноги, он выносил через проходную отшелушенные семечки. Ими и питался, пока председателю не дали взятку и паспорт не выслали в город.

Родители моего отца могли себе позволить дать образование ему одному, и он, ощущая свой долг перед семьей, учился и за себя, и за своих сестер. Как губка впитывал все, что могла дать ему Одесса: не



пропускал ни одного симфонического концерта в Филармонии, ни одной выставки в музее и все время читал, читал... Строил себя.

Папа очень следил и за своим внешним видом, и за своим здоровьем. Если бы ему предложили продолжить знаменитую чеховскую фразу о том, что в «человеке все должно быть прекрасно», он бы сказал: «...и обувь, и брюки, и рубашка, и галстук». Или же: «...и печень, и поджелудочная железа, и двенадцатиперстная кишка».

При всей своей аккуратности он вечно что-то искал в своем письменном столе или в шкафу и вечно не находил. Он мог уйти на работу весь чистенький, отутюженный и — с деревянной вешалкой-плечиками, болтающейся сзади на хлястике плаща. На защиту своей диссертации он вышел из подъезда в новом костюме, при галстуке и в домашних шлепанцах.

Каждое утро папа делал зарядку. Всю жизнь, кроме тех особых случаев, когда он подрывал свое здоровье известным в России способом. При этом он никогда не говорил: «У меня похмелье». Он всегда говорил: «Сыночка, у меня тяжелейшая посталкогольная интоксикация».

Когда мне было десять лет, папа уже продумал мою дальнейшую жизнь на четверть века вперед.

— Ты закончишь школу, тебе еще не будет семнадцати, значит поступать в мединститут можешь два года подряд, — говорил он с легким одесским акцентом. — Хотя, японский городской, почему ты должен поступать подряд два года?! Какой-то мордovorот из Тарутино поступает сразу, потому что у него есть направление от председулькина колхоза! Неужели я не заслужил, чтобы мой сын пошел по моим стопам?.. Понимаешь, сыночка, это очень плохо, что я доцент мединститута. Детей преподавателей не принимают. Вот если бы я работал говновозом, у них не было бы никаких вопросов! Хорошо. Мы сделаем иначе. Ты поступаешь в Днепропетровский мединститут. Через два года переводишься в Одессу. Через четыре года заканчиваешь. Потом — ординатура, потом — клинординатура, потом — аспирантура. (Может быть, я путаю: сначала клинординатура, а потом — ординатура.) К моменту поступления в аспирантуру я уже соберу тебе почти все мате-



ЮРИЙ СТОЯНОВ





**Мама и папа. 1960 год.  
На кого же я похож?**



**Болгарская бабушка Женя**



**Бабушка Тамара. Русская.  
Родила троих детей от троих мужей. Каждый следующий муж воспитывал детей предыдущего. Все дети любят друг друга. Баба Тамара работала кассиром в кинотеатре и брала меня с собой на работу (с тех пор я полюбил и знаю кино). Мы вместе пересчитывали мелочь, и всегда почему-то оставалось лишних 20 копеек мне на мороженое**

риалы для диссертации. Все! В двадцать семь лет ты уже кандидат наук! Главное — это не жениться до окончания аспирантуры. Не лыбься, пожалуйста!..

Папа был упрямым человеком. И я был упрямым человеком. И вышло все не по папиному велению, а по моему хотению. Вместо одесского медицинского был московский театральный. Вместо ординатуры — Большой драматический театр в Ленинграде. Вместо клинординатуры — армия. Вместо аспирантуры — массовка в театре и песенки под гитару за восемь рублей. И женился я не в двадцать семь, а в девятнадцать. И вместо диссертации подарил отцу двух внуков, первого из которых он принимал сам как гинеколог. А потом внуков у него отобрали, потому что я развелся. А потом вообще лишили возможности видеться с ними, потому что я вторично женился.

А потом... отец умер, так и не увидев меня состоявшимся артистом, а ведь для него это было, может быть, важнее, чем для меня самого.

Папа был одним из самых известных в городе врачей. Когда всем его коллегам стало ясно, что он уходит (так говорят в этих случаях врачи), то его кабинет в родильном доме № 7 был переоборудован под палату, где за отцом ухаживали сестры — акушерки. Он уходил из жизни в том доме, где стольким помог появиться на этот свет. Я ночевал рядом с ним на полу. За неделю до его смерти я вынужден был слетать на несколько дней в Питер (мы снимали один из первых «Городков»). Когда я вернулся, он смог сказать только одну фразу:

— Зачем ты прилетел? А как же там твоё телевидение?

Эти его почти последние слова очень много для меня значат...

Я мог бы теперь показать ему весь мир, которого он не видел, подарить ему хорошую машину, которой у него не было, поселить в красивом доме, в котором он не жил, и прислать ему самые лучшие кремы для обуви, которыми он обожал натирать свои ботинки.

У меня так и не получается сыграть смешного врача. Что-то мешает. Что-то, что сильнее желания рассмешить...

# Б О Л Г А Р Ы

**М**оя мать — русская, отец — болгарин, из тех, что полтора века тому назад поселились на юге России. Их тайком вывозили морем русские моряки, спасая от турецкого ига. В шестнадцать лет я для экзотики решил записаться в паспорте болгаринком. Про таких, как я, в застойные годы говорили: «Полукровка — последняя надежда советской власти».

До 1963 года жили мы на Пересыпи.

Мои родственники по болгарской линии (выходцы из села Благоева) с разрешения властей нарезали себе участок, примыкающий к стене завода «Продмаш». А мои русские родственники работали на этом заводе и жили в ведомственном доме — в километре от болгарских. А я — паразитировал на их географической близости.

— Ну, Юрасик, чем тебя сегодня болгары кормили? — спрашивает меня русская бабушка.

— Ой, плохо дело у болгар, бабушка Тамара, — отвечаю. — Все на работе, на базар никто не пошел. Два яичка всмятку покушал и все.

— А бабушка Тамара тебе котлетки сделала с домашней лапшой!

Возвращаюсь домой к болгарам. Болгарская бабушка Женя спрашивает:

— Баба Тамара тебя кормила?



ЮРИЙ СТОЯНОВ

- Нет.
- А что делала?
- Поила. Компот дала и все.
- От кацапы, да еба мамка!

Я думаю, это болгарское выражение не нуждается в переводе.

В отместку бабе Тамаре меня кормят ихнией — курицей с картошкой и луком, тушенными в томате.

Благодаря моим пересыпским Монтекки и Капулетти я постоянно прибавлял в весе. И мать запретила кормить меня в ее отсутствие. Я нашел выход. Болгарским родичам я пел на кухне болгарские песни, а русским — показывал смешные истории из жизни болгарской диаспоры. За это те и другие подкармливали меня исподтишка.

Однажды мой вес едва не стал причиной трагедии. Я нечаянно чуть не убил собственного двоюродного брата Вовку.

Девичья фамилия его мамы — моей тетки и крестной — Стоянова, и у его отца фамилия — Стоянов. Однофамильцы. В загсе, когда они регистрировались, одна идиотка спросила:

— Варвара Георгиевна, вы останетесь на своей фамилии или возьмете фамилию мужа?..

Брат Вовка — чистокровный болгарин. И кличка у него была — Болгарин. Разница в возрасте у нас — шесть лет (я старше).

Непредумышленное убийство могло состояться в конце 1-й Ильичевской улицы, недалеко от нашего дома. Была там огромная глубокая яма, в которую стекали отходы из коллективных дворов. Яма была огорожена невысоким заборчиком. На нем-то и сидели в жаркий июльский полдень мой пятилетний Болгарин и еще четыре пацана. Подхожу к ним и со словами: «Привет, дистрофики!» усаживаюсь рядом на забор. После сухого треска и крика «Ой!!!» последовало секундное ощущение невесомости, и небо оказалось уже не над головой, а перед глазами. Я вскочил. Смотрю: малышня валяется кто где. Пересчитал — три человека. А было четыре.

— А где Вовка?



Сашка Тюльбеев, Вовкин дружок, посмотрел в яму и сказал:

— Утонул твой Болгарин!

Мы склонились над ямой. Никого!

Один маленький паникер (не помню его имени) побежал по улице с истошным криком:

— А Жирный Болгарина убил!

В это время из фекальных вод, как поплавок, вынырнул Вовка с капустным листом на голове. Первые его слова были:

— Ну все, Юрочка, идет рассказ! Идет про тебя рассказ папке!

Дядю Ваню, его папу, я побаивался. Иногда казалось, что под горячую руку может и ломиком по голове ткнуть. Но на любого дядю Ваню есть мой папа, который начнет искать топор. А у моего папы есть его папа, который этот топор обязательно найдет! Болгары, одним словом.

Я говорю Вовке:

— Спокойно, Болгарин, сейчас мы тебя вытащим. Я тебе велик подарю!

Спасали мы его, как альпиниста из расщелины. Поскольку яма была глубокой, пришлось Сашке Тюльбееву в нее свеситься и схватить Вовку за руки, а я держал Сашку за ноги. Сандалии у него были на вырост — на два размера больше. Естественно, он из них выскользнул и повторил полет Болгарина. А я остался наверху с сандалиями в руках... Так как велосипед у меня был один, второму малому я пообещал марки.

У этой истории счастливый финал. Засранцев с трудом, но все-таки отмыли. Меня никто не заложил. Правда, Болгарин какое-то время меня шантажировал. Чуть что ему не понравится, он мне подмигивал и говорил:

— Идет рассказ!

Мы, дети болгарского двора, очень любили, когда приходил с работы дядя Миша — муж тети Любы, еще одной папиной сестры. Дядя Миша трудился на мяскокомбинате. С работы он всегда возвращался толще, чем уходил. И даже в жаркие дни носил пиджак.



На кухне дяде Мише помогали раздеться. Он топтался вокруг собственной оси и с него, как с катушки, падала лента молочных сосисок. Под майкой дядя Миша носил специально сшитый пояс с карманами для мяса и печени. От того, что он работал постоянно с сырым мясом, у него иногда возникало рожистое воспаление на руке. Тогда он брал больничный и семья переходила на постную пищу. Какая-то бабка с соседней улицы за кусок говядины заговаривала дядимишину болячку, и дом опять становился на довольствие мясокомбината.

Ах, как готовила бабушка Женя!



С детства люблю,  
как говорят в Одессе,  
«вкусно покушенькать»

Рождественский стол. Перечисляю: ихния из курочки, тушенная капуста с грибочками, фасолица с жареным лучком, икра из синеньких, икра из кабачков (это из закруток), голубчики величиной с детский мизинец. Квашеные капустные листья для голубцов продают на Привозе, а мяско, я вас умоляю, не надо пропускать через мясорубку, его надо рубить ножичком долго и мелко. По-болгарски! Что там еще? Естественно, много-много брынзы (и свежей, и выдержанной). Не обходилось и без продуктов ассимиляции — дунайской селедочки, тюлечки, колбаски и чего-нибудь еще чисто одесского.

Но самое главное — на сладенькое — БАННИЦА. На приготовление — день. Пресное тесто раскатывают до толщины бумаги. Слой теста. Растопленным маслицем его сверху. Потом творожок. И сахарным пес-

718

ЮРИЙ СТОЯНОВ

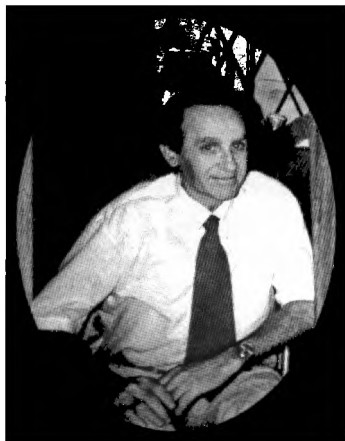
ком из ладошки. И все. И так двадцать пять слоев. И потом в духовку. Покажите мне человека, который сумеет сегодня сделать настоящую банницу, — и я изменю национальность!

Баба Женя моя. Сколько народу она выкормила, вынянчила и вырастила. Почти не умела читать и писать. Могла быть властной и непреклонной. Любила, когда я кривлялся, и не разрешала моей шустрой двоюродной сестре Светке идти по улице впереди меня: «Бо он — мужчина!» Пережила и мужа, и сына. И тихо ушла к своему Богу, в которого скромно и непоказно верила всю жизнь...

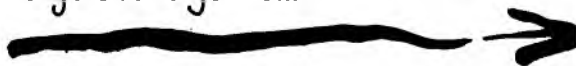
Живут мои болгары в Одессе. Живут небогато. Рабочие, таксисты, учителя и врачи. И нет среди них больших начальников, нет бизнесменов. Никогда они не были за границей. Даже в стране, на языке которой говорят по сей день.

Что посадит болгарин на земле, если у него будет один квадратный метр? Он посадит куст винограда и красный перец.

Они растут на нашей даче в Одессе, в районе Большого Фонтана в память о самом главном болгарине в моей жизни — папе.



До встречи в «Городке»  
еще очень долго...





**Улица Измаильская, дом 17.  
Спиной стоит мой дружок  
Мишка Павчинский.  
Дрались каждые пять минут.  
Вместе учились курить  
и ругаться**



# Юра Стоянов

## в школе и дома

### Урок рисования

Я

очень плохо рисую. В сегодняшней своей работе особенно остро ощущаю это неумение. А ведь мог научиться, мог. Я был в третьем классе, когда у меня отбили всякую охоту к рисованию.

— Дети, послушайте тему домашнего задания, — говорит наша учительница Олимпиада Николаевна. — Тема такая: «Рабочее место моего папы». Рисунки сдадите завтра. Я разрешаю, чтобы ваши папы вам помогли.

Я решил обойтись без отцовской помощи. Пришел домой, достал с полки толстый, богато иллюстрированный том, изданный на иностранном языке и нашел фотографию, где было запечатлено нечто, напоминающее мне рабочее место моего папы.

Я не раз бывал у него на работе и имел представление о том, как выглядит это самое рабочее место. На кухне я нашел папиросную бумагу, которую бабушка обычно кладет на противень и смазывает жирными гусиными перьями, чтобы испечь банницу. Эту прозрачную бумагу я положил на фотографию и аккуратно прорисовал ее карандашом. Получилось — один к одному. Черно-белую заготовку я произвольно раскрасил цветными карандашами и внизу подписал чернилами:



ЮРИЙ СТОЯНОВ

«Рабочее место моего папы — Стоянова Николая Георгиевича». Я был уверен, что пятерка за домашнее задание у меня в кармане.

А назавтра был большой скандал. Олимпиада Николаевна не стала вызывать моего отца, ограничилась матерью, которая работала в моей же школе. Я стоял за дверью директорского кабинета и слышал, как наш директор Владимир Георгиевич Демидов все время повторял: «Конечно, это ужасно», — и начинал хохотать.

Помню и слова моей мамы, прогрессивного педагога, проходившего практику у самого Сухомлинского:

— Плохо не то, что он это нарисовал, а плохо то, что он это срисовал. Значит, нет ни памяти, ни фантазии.

— Понимаешь, Женя, — обратилась Олимпиада Николаевна к маме, — ладно бы он срисовал просто рабочее место, так он же изобразил и самого папу, что называется, в деле.

...В нашей трехкомнатной хрущевской «распашонке» отцовский кабинет служил и моей комнатой. У папы была библиотека (одна из лучших в городе) по его медицинской специальности. Несколько тысяч книг. Когда я засыпал, мой взгляд невольно останавливался на какой-нибудь массивной монографии вроде «Пол, брак, семья», а когда я просыпался, то видел перед собой либо «Рак шейки матки», либо «Кесарево сечение». Тиль Уленшпигель, Д'Артаньян и граф Монте-Кристо не были героями моего детства. Моим героем был человек в белом халате, шапочке и марлевой маске, в бахилах, с огромными щипцами в руках.

Я всегда гордился профессией своего отца. Ведь если бы не было на свете акушеров и гинекологов, то не было бы ни меня самого, ни всего третьего «А» класса 27-й одесской средней школы, ни даже Олимпиады Николаевны, так и не научившей меня рисовать.



# Большая перемена

На двух лавках рядом с эбонитовым столом для игры в домино сутками сидели домохозяйки дома № 17 по улице Измаильской и обсуждали всё и вся.

Они знали, что сегодня будет на обед у Басарских — наконец-то мясное (!), что к Гендеку приехал внук — кацап из Москвы, что Дмитрашко из 37-й квартиры как всегда трезвый, а эти из 12-й, у которых нет детей, как всегда под газом, что Хромой, сволочь, устроился рубщиком мяса на Новом базаре, что Иванов — не обязательно русская фамилия (посмотрите на жильцов 21-й квартиры) и что Стояновы купили телевизор (интересно, на какие такие деньги?)

Прибыв на большой перемене домой, чтобы перекусить, с балкона пятого этажа нашего дома я наблюдал за торжественным вносом телевизора в подъезд. Телевизор не был упакован, и я увидел, что это цветной телевизор. Почему? Потому что у него был цветной экран.

Я закричал на весь двор:

— Папа купил цветной телевизор!

Настоящие цветные телевизоры появились лет через пять, но кто-то из сидящих на скамейке снисходительно заметил: «Большое дело!», что в переводе с одесского на русский означает «Ну и что?».

Чудо с экраном в 36 сантиметров по диагонали называлось «Рубин-102». В нем, кроме самого телевизора, был еще и радиоприемник.

Может быть, вы помните эти целлулоидные с цветными полосами вставки в экран? Они-то и должны были имитировать цветность. Когда телевизор включили в сеть, на экране появился диктор. У него было синее лицо, зеленая шея и трехцветный костюм. Очень красиво. Но родителям не понравилось, и отец убрал с экрана прозрачный лист со всеми цветами радуги. Я устроил жуткую истерику и выдал все, на что способен обиженный семилетний одесский мальчик. Не помню, что я тогда орал, но явно ляпнул что-то лишнее, может быть даже нецензурное. Ничем иным не могу объяснить поступок моей мамы, педагога со стажем, которая вытащила меня на балкон и закричала:



ЮРИЙ СТОЯНОВ

— Если ты не заткнешься, я выброшу тебя с пятого этажа! Я тебя убью!

Я посмотрел вниз. Внизу стояла тетя Фаня по кличке «Би-би-си», а рядом какала овчарка из 15-го дома. Падать на них мне не хотелось, и я завопил:

— Мамочка, не убивай меня, ты еще будешь мною гордиться!

С тех пор сменилось три поколения телевизоров, появились внуки у щенков той овчарки, в продукты жизнедеятельности которой я мог быть сброшен, сам я работаю на телевидении. И, мне кажется, на этом самом телевидении я только и работаю для того, чтобы тетя Фаня-Би-би-си говорила мне при встрече:

— Она-таки может тобою гордиться.

«Она» — это мама.



**Ученик десятого «А» класса  
Стоянов Юрий в обнимку с завучем  
по воспитательной работе  
Стояновой Евгенией**



ЮРИЙ СТОЯНОВ

# Урок физкультуры и труда

Жирный кабан  
Залез в чемодан.  
Чемодан провалился,  
Жирный убился.

Эти вирши мне доводилось часто слышать в свой адрес. Я, плод кулинарного соперничества двух моих бабушек, гастрономическое поле битвы между конкурирующими болгарским и русским кланами, их заслужил. Родственники научили меня интеллигентному ответу: «Я не жирный, а упитанный».

В нашем дворе, конечно же, пели песни. Порой на политическую тему. Например:

Куба, отдай наш хлеб!  
И заberi свой сахар!  
Куба, Хрущева на свете уж нет.  
Куба, пошла ты на...

По вечерам звучала лирика:

А я ли тебя не любил?  
А я ли тобой не гордился?  
Следы твоих ног целовал  
И чуть на тебя не молился!

Вот это «чуть» мне безумно нравилось. Это очень по-одесски. То есть уже так сильно любил, что еще немного — и начал бы молиться. Но не начал. Просто целовал следы ног.

Поскольку Одесса — город многонациональный, то в межэтнических конфликтах последним аргументом часто становился не кулак, а слово:



ЮРИЙ СТОЯНОВ

Жид-жид-жид-жид  
По веревочке бежит,  
У него хвост дрожит...

Или:

Шел хохол,  
наложил на пол.

Ответ:

Шел цацап,  
зубами — цап!

Или: «А Гагарин — не болгарин!» И так далее.

Но ко мне чаще всего были обращены стихи про этого, который залез в чемодан. И я решил худеть. Я записался в секцию фехтования. Оружие — сабля. Тренер — Аркадий Самойлович Бурдан. Имя-отчество и фамилия тренера внушили доверие моему папе: «Значит, не какой-нибудь там мордovorot». Аркадий Самойлович, несмотря на фамилию, оказался настоящим извергом. Он издевался над нами по шесть часов в день. При этом обращался исключительно на «вы»:

— Стоянов, вы должны понять: при ваших габаритах по вашей роже я точно не промажу!

Надо отдать должное Аркадию Самойловичу. Четыре года тренировок — ежедневных кроссов, беготни в сорокакилограммовом жилете, бои с воображаемым противником и, не дай Бог, с самим Аркадием Самойловичем — сделали свое дело. Я начал сокращаться в ширину и вытягиваться в высоту. Школу я закончил с такими параметрами: рост — 183, вес — 70 кг.

Я — человек увлекающийся. И фехтование было огромной частью моей пацаньячьей жизни. Папа даже говорил в пылу, что если мне вскроют черепную коробку, то там обнаружат только мятую фехтовальную перчатку.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

**Девятиклассники.  
Во дворе  
одесской средней  
школы № 27**





..... →



**В 1974 году  
 мне было  
 присвоено звание  
 „Мастер спорта СССР“  
 по фехтованию.  
 Это единственное  
 почетное звание,  
 которое  
 у меня есть**



Как-то на уроке по трудовому воспитанию, когда учитель вышел из мастерской, я показывал однокласснику Сереге Мельниченко какие-то фехтовальные приемчики на напильниках.

Нашего мастера по слесарному делу звали Феликс (отчества не помню). Кличка — Челюсти, потому что у него во рту было тридцать два железных зуба. Вообще железо было его любимым материалом. Он собирал по дороге в школу ржавый металлолом и заставлял нас делать из него всякие полезные, с его точки зрения, вещи: механизм для сгибания протеза в районе коленного сустава, силуэты писающих мальчиков из жести для обозначения мужского туалета, капканы для мышеловок и так далее. Как-то он спросил нас:

— А что бы вы сами хотели сегодня сделать из железа?

И Мельниченко ответил:

— Зубы.

— Почему?

Мельниченко, передразнивая Феликса (тот, когда улыбался, кокетливо прикрывал железный рот ладошкой), ответил:

— Потому что красиво!

Феликс подошел к нему с видом застенчивого убийцы и вежливо попросил выложить на верстак все содержимое портфеля. Серега вывалил все, что было. Феликс собрал ученические причиндалы в стопку и ею вломил Мельниченко по темечку. На Серегину беду в этот день по расписанию был и урок черчения. Так что огромный деревянный пенал пришелся на основание пирамиды, которой его припечатал Феликс. Серега так испугался, что, по-моему, даже не понял, больно ему или нет. А Феликс вдруг устроил какую-то жуткую уркаганскую истерику:

— Мочить вас буду, козлы вонючие! Мама, падлой буду!

Мы все драпанули из мастерской, потому что до нас стало доходить, где Феликс приобрел навыки работы по металлу. Мы так сдрейфили, что никому не рассказали о ЧП.

Со временем все как-то поутихло и подзабылось и бдительность наша притупилась. И вот показываю я Сереге фехтовальные удары с помощью



напильников и учу его брать защиту. Искры летят во все стороны. В это время в мастерскую вошел Феликс. Серега первым заметил его и инстинктивно прикрыл голову руками, как бы говоря этим: «Товарищ учитель, а вы меня уже били, помните?» Феликс взял меня за шиворот, подвел к дверям и ногой дал мне пенделя по мягкому месту. Я вылетел в коридор и совсем не больно приземлился. Вижу — по паркету двигаются знакомые каблучки. Идет мама с какой-то комиссией и объясняет:

— А здесь у нас проходят уроки трудового воспитания. Опытные педагоги. Прекрасное оборудование...

Я начал корчиться и постанывать:

— А-а-а, как больно, как же мне больно...

Мама, перешагивая через меня, тихо процедила сквозь зубы:

— Встань, клоун, не верю!

Так мне был преподнесен первый урок по мастерству актера. Остальные уроки того, как нужно корчиться, чтобы верили, я получил в Москве, в ГИТИСе (Государственном институте театрального искусства).

Там же я узнал о том, что авторство легендарной фразы «Не верю!» принадлежит не моей маме, а Константину Сергеевичу Станиславскому.



# Ленин и Крупская —

мои

однокурсники

---

Как хорошо, что есть друзья!  
Я к ним могу прийти голодным,  
Не будет их прием холодным,  
И мы закусим, как князя.

Но если у моих друзей  
Мы не найдем и черствой булки, —  
Вперед! — в соседнем переулке  
Живут друзья моих друзей.

Друзья друзей моих друзей — друзья,  
Конечно, неплохие,  
Они и для меня такие,  
Которых не любить нельзя.

Кого же из друзей моих  
Люблю я больше, чем других?  
Скажу вам честно, не тая:  
Всех тех, что влюблены в меня!



ЮРИЙ СТОЯНОВ

О каких таких друзьях, живущих в соседнем переулке, я сочинил эту студенческую песенку на первом курсе? Все мои друзья жили в соседних комнатах на втором этаже общежития.

Очень немосковский был у нас курс. Совсем не блатной. На нашем курсе никто не продолжал актерской династии. Сплошь провинциальные основоположники династии собственной. Было, правда, несколько москвичей — замечательных ребят, которые проводили все свое свободное время с нами.

Адрес нашей общаги — Трифоновская, 45<sup>б</sup>. Поскольку нравы там царили довольно свободные, то в ходу была такая шутка: «А почему только сорок пять “б”, если б..... там значительно больше?»

Всем курсом мы вываливались в девять утра на Трифоновку, а если опаздывали, то разбивались на группы по четыре человека и брали такси. Двадцать пять копеек с носа — и за рубчик нас подвозили по бульварам до Никитских ворот, а там — по Герцена налево уже рукой подать до Собиновского переулка.

Перед занятиями по мастерству актера у нас всегда была получасовая пауза, которую мы заполняли весьма оригинально. Два человека становились на шухер — один на лестнице, второй у дверей — и начинались подпольные практические занятия по истории КПСС в лицах.

В 19-й аудитории было свое закулисье и небольшая сцена, на кото-

рой мы инсценировали красные даты календаря. Например: «Ночь перед штурмом Зимнего».

В роли Ленина — Виктор Сухоруков, Крупская — Татьяна Догилева, Керенский — Юрий Стоянов, Лицо от театра — Геннадий За-

**ГИТИС. 1974 год.**  
**Зимняя сессия. Этюд**  
**«Врачи». Первый зачет**  
**по мастерству актера.**  
**Актеры — есть,**  
**мастерства пока нет**



логин, исполнители массовых сцен (революционные солдаты, матросы и проститутки) — студенты курса.

Мы ни о чем не договаривались заранее. Сценарий импровизировался на ходу.

Витя Сухоруков Ильича играл гениально. Маленький, лысый, с раскосыми глазами, он пародировал все штампы актерской ленинианы от Штрауха и Щукина до Каюрова и Ульянова.

Витька лежал с Таней Догилевой под одеялом. На авансцену выходило Лицо от театра, и Генка с пафосом говорил в зал:

— В ночь перед штурмом Зимнего Ленину, как никогда, хотелось спать. Ничто человеческое ему было не чуждо.

При этих словах Сухоруков — Ленин начинал домогаться Догилевой — Крупской. Под одеялом шла возня. Догилева кричала:

— Володя, только не сегодня! Завтра наши мальчики берут Зимний! Тише, товарищ Ульянов, уберите ручонки. Феликс может услышать.

Лицо от театра торжественно-проникновенным голосом прерывало эту пикантную разборку под одеялом:

— «Ленин — человек». Как мало на самом деле мы о нем знаем! Ленин — сын, Ленин — муж, Ленин — отец... — Тут Генка Залогин поперхнулся, он понял, что его, с точки зрения исторической правды, занесло. — Ленин — друг и товарищ! — поправился он.

Сухоруков подхватывал:

— Гусь свинье не товарищ! Плевать я хотел на этого железного Феликса! На этого ржавого поляка! На этого стукача! Я хочу тебя! Надежда, я загадал, — вдруг он начал по-поповски окать, — если ты не отдашься мне, дочь моя, то восстание провалится. Это такая примета.

В это время массовка сама начинала восстание. Драка, крики, стоны... И я в роли Керенского бегаю и кричу:

— Господа, одолжите кто-нибудь лиф-

**1978 год.  
Владимир Наумович  
Левертov и я.  
Спасибо ему  
за профессию!**



чик и чулки. Умоляю. Мне по учебнику истории КПСС положено драпать в женском платье!

На авансцене Надежда Константиновна выполняла требование вождя, а Лицо от театра резюмировало:

— Да, сегодня мы перелистнули еще одну неизвестную страничку из жизни Ильича. Он был суверен. Эта распространенная человеческая слабость была присуща и ему — великому человеку. И кто из летописцев знает: не пойди Надежда Константиновна ему навстречу, чем бы обернулась для истории эта примета?!

Таким образом, когда в аудиторию входили наши учителя — Всеволод Порфирьевич Остальский, Евгения Николаевна Козырева и любимый мой, поистине гениальный, педагог Владимир Наумович Левертов, — мы уже были хорошо «размяты» с актерской точки зрения.

Всеволод Порфирьевич Остальский. Умный, добрый, толстый, смешной. Все время говорил:

— Вы все — мои дети. Здесь нет любимых и нелюбимых. Все вы — мои дети!

И договорился.

Однажды в три часа ночи к нему пришел мой друг и однокурсник латыш Арик под хорошим газом. Почти на бровях. Арик рос без отца. И когда на пороге появился Остальский в трусах, Арик сказал:

— Всеволод Порфирьевич, усыновите меня! Я хочу быть Арием Всеволодовичем... Папа!

Заплакал и упал.

Евгения Николаевна Козырева. Знаменитая Медея и исполнительница роли матери в кинофильме «Убийство на улице Данте». Красавица с огромными глазами и невероятным темпераментом. Показывая, как надо играть любовь, могла запросто сломать стул. Внушала мне, что я по амплуа — герой. Не внушила.

Владимир Наумович Левертов. Великий педагог. Сделал меня актером. Проходят годы. Прибывают понемногу профессиональная свобода и какие-то штампы, которые кое-кто называет мастерством. Но если иногда что-то получается у меня искренне и органично в кадре или



на сцене, то именно потому, что был в моей жизни именно этот человек. С появлением педагогов в аудитории замолкал шум Октябрьского переворота и начинались «петельки — крючочки», «верю — не верю» и так далее. Недавнего исполнителя роли Ленина Витю Сухорукова двадцать минут подряд заставляли продевать воображаемую нитку в ушко воображаемой иголки, а Таню Догилеву — делать бесконечный этюд по физическому самочувствию на тему: «Что такое — холодно?» Мы же с Залогиним обычно забивались в угол, потому что азы профессии нам давались с трудом...

Никто из нас не читал тогда Солженицына. Импровизируя на тему Октября, мы просто валяли дурака и, слава Богу, на нас не наступали куда следует. А если бы стукнули и если бы Витька Сухоруков не учился продевать нитку в иголку, то может и не сыграл бы он Ленина в фильме «Комедия особого режима» по Довлатову. И Танюша Догилева не стала бы выдающейся актрисой. И, возможно, Илья Олейников делал бы «Городок» с кем-нибудь другим...

Как давно все это было. В юности. В 1974 году.

...А в 1975-м я переехал из общежития на частную квартиру стоимостью тридцать рублей в месяц, включая коммунальные услуги. К этому же времени относится начало моего увлечения любительским собаководством. В выходные дни я пропадал на Птичьем рынке недалеко от Таганской площади. Чего там только не продавали! Купить можно было все, что шевелится, бегаёт и плавает на земном шаре. Я околачивался преимущественно в собачьих рядах. Всех собак мне было жалко.

Первого моего пса мне продали как той-терьера. Щенок не рос, остался двадцати сантиметров в холке, не лаял, а мяукал, и язык не поворачивался назвать его кобелем. Через два месяца он перекочевал к отцу моей первой жены в Минеральные Воды и там продолжил свою странную породу.

Второго пса мне выдали за «русскую гончую». Три месяца я лечил его от глистов, а потом подарил одному егерю.

Третьим был двухлетний курцхар, у которого затянулся период полового созревания. Однажды я пришел из института и застал жену



ЮРИЙ СТОЯНОВ

сидящей на шкафу. Внизу лаял пес, и глаз у него был какой-то очень веселый. Курцхара я отвез обратно на Птичий рынок и подарил двум школьницам из Подмосквья, дав еще и денег на электричку. Как они доехали до дома, не знаю.

Так что благотворительность я понимал очень по-своему: помоги собаке и подари ее другому. Все же если я пропускал занятия, староста курса Юра Богданов объяснял педагогам мое отсутствие так:

- Он болен.
- Чем?
- Любовью к животным.

...Уже четырнадцать лет живет у меня Тиль — беспородный пес, обаятельнейшее существо с человеческим взглядом, которое я называю «карликовым ньюфаундлендом». Из всех команд он понимает только одну: «Сделай зайнку». Выполняя ее, он садится на задницу и ждет куска колбасы. С этим трюком Тиль и кочует из одного выпуска «Городка» в другой.



**Наш с Олейниковым партнер — «карликовый ньюфаундленд» Тиль**



# «Актер клубов и библиотек»

Как я был  
Героем Советского  
Союза



армию меня призвали в 1979  
году. Служил чуть больше года. Вот как все это происходило.

**Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры и генералы нашего Городка!**

В «Городке» у нас было довольно много историй про армию. Ни один военный человек ни разу не обиделся на нас. По крайней мере, в глаза никто не высказывал никаких претензий. Передача у нас не злая, простодушная. И вообще «Городок» оценивается по очень простой шкале: «смешно — не смешно». И я, и Илья, оба мы отслужили срочную службу. Поэтому все армейские типажи, знакомые вам по «Городку», — все они взяты нами, как говорится, с натуры. Все они родом из нашей молодости, и у большинства есть реальные прототипы. И прапорщик Пилипчук, и товарищ Генерал, и рядовой Урузбаев — наши старые знакомые. И мы с Олейниковым шлем им наш армейский дружеский привет.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

Было мне в ту пору аж двадцать два. После окончания московского ГИТИСа работал я в Ленинградском Большом драматическом артистом. Человек семейный и при ребенке, жил в общеаге, играл одну главную роль и чуть ли не ежедневно бегал по сцене в бесчисленных массовках. Ясно, что как всякому перспективному артисту, мужу и отцу в солдаты мне идти не хотелось. Исполнение почетной обязанности гражданина грозило, как мне тогда казалось, потерей профессии. Только-только Георгий Александрович Товстоногов стал отличать меня при встрече в театральном коридоре от Юрия Томошевского, моего однокурсника, жившего в том же общежитии и столь же «плотно» занятого в текущем репертуаре, как на тебе — служи Советскому Союзу! Нам, «драматическим», светило по полтора года, а несчастных «балетных», скажем, забривали на два, потому что ни у кого из них не было высшего образования. Среднее специальное, то есть как бы хореографическое ПТУ — да, а высшего — нет. («Балетные» убивались пуще нашего — хореографические экзерсисы с киркой да лопатой еще никого не привели в Большой театр или в ансамбль Моисеева.) Если бы я знал, от какого источника вдохновения я пытался увильнуть!

В начале 1979 года, то есть когда нам грозил осенний призыв, а именно накануне афганской войны, был недобор солдатского поголовья в армии. Забирали всех подряд. Служить мне предстояло вместе с моим другом и партнером Юркой Томошевским, по кличке Томаш. Директор театра пообещал нам, что служба будет «не бей лежачего», блатная, будем отбывать свое в ансамбле Ленинградского военного округа, у Кунаева. «Пойдете, куда вам скажут в военкомате, — сказал директор, — где-то распишетесь в бумажке, а вечером в театр, на работу. Вы остаетесь в репертуаре, заменять вас некем. Я обо всем договорился с вояками». Так говорил директор.

На городском сборном пункте рассортировали нас по командам с какими-то секретными мистическими кодами. Выкрикивает, например, дембель: «Команда шестьсот шестьдесят шестая Г, на выход», — и двадцать перепуганных архитекторов или клубных работников уходят в неиз-





**17 апреля 1978 года. Ленинград, Набережная реки Фонтанки, 65, у служебного входа в Большой драматический театр. Десять минут назад закончился показ всего нашего выпускного курса художественному совету театра, и Г.А.Товстоногов зачислил в труппу меня и Юрку Томошевского (справа). Как все радуются за нас! (Через много лет мы, с разницей в один год, расстанемся с театром.)**



**В 1978 году Георгий Александрович пригласил меня в БДТ. Короткие переговоры он завершил цитатой из Диккенса: — Надеюсь, что наше знакомство будет длительным, как сказал джентльмен, обращаясь к пятифунтовому билету. Знакомство было действительно длительным — пятнадцать лет. Но если считать меня «пятифунтовым билетом», то будущее показало, что Джентльмен меня переоценил и несколько завысил цену. Мои восторги ничего не добавят к портрету великого режиссера, но я навсегда запомню огонек его вечной сигареты, блуждающий по темному зрительному залу, и несколько добрых слов, обращенных ко мне...**

вестном направлении. (В тот день призывались только те, у кого высшее образование.) А Томаш мой все время чего-то шухерит, гоношится, крутится возле прапорщиков, и я так понимаю, что дорожки наши могут разойтись. Наверное, он, гад, думаю я, в другом ансамбле служить будет. В еще более блатном и халявном. Не знал тогда ни я, ни Юра Томошевский, что на ближайший месяц нашим ансамблем станет школа сержантов в полку имени Ленинского комсомола и что танцевать мы с ним будем в кирзе на плацу, а декламировать — в Ленинской комнате на политзанятиях. Ошибочка вышла у директора Академического Большого драматического театра имени Алексея Максимовича Горького. (Звали директора — Володя Вакуленко. Спасибо ему!..) Посадили нас человек десять в автобус с черными занавесочками. Когда мы пересекали Невский проспект, прапорщик зашторил окна.

— Далее маршрут следования вам знать не положено.

Ехали часа два. И приехали куда-то затемно. Мы с Томашем стоим под плакатом «Служу Советскому Союзу!». Подходит к нам солдатик, весь грязный, худющий, кашляет.

— Пацаны, нет ли у вас че-нибудь такого, шоб и вам не жалко было, и нам пригодилось?

Я понял, что с харчем и бытом у них тут хреново. Отвели нас в казарму. Дневальный, стоящий у тумбочки, отдал нам честь. Очень странно. Мы ведь с Томашем оба в костюмах. Как-никак в ансамбль шли служить! Кроме того, однокурсник мой был с хорошего бодуна и до сих пор не оклемался. Подошел к нам лейтенант, на вид моложе нас, и говорит:

— Счас рота с пробежки вернется, и я вас размещу, а утром переоденетесь.

Никогда не забуду, как возвращалась эта рота с пробежки. Дверь в казарму была узкая. С жуткой скоростью по одному влетали в эту дверь новобранцы и механически отдавали честь тумбочке (мы с офицером стояли за колонной, а дневальный куда-то отошел). Солдатики все потные, запыхавшиеся, на одно лицо, каждый, как робот,



ЮРИЙ СТОЯНОВ

отдает честь тумбочке и — бегом в казарму. Когда мимо нас пробежало человек семьдесят, я услышал за спиной какие-то странные звуки. Поворачиваюсь. И что же я вижу? Стоит мой Томаш, лицо бело-зеленого цвета, руки трясутся, глаза на выкате, язык на подбородке, а задом он раскачивается с такой скоростью, как будто крутит хулахуп. Картина Босха. Или еще кого-нибудь. Одним словом, «Ужасы нашего городка». В довершение всего у Томаша подкашиваются ноги, и он со всей силой наворачивается на цементный пол. Ну, думаю, гад, косит по всем законам эпилепсии. Гениально косит! Но что самое гнусное — косит в одиночку. Предатель. Я к нему наклонился и шепчу на ухо: «А как же я? Ты, клоун?!» И тут он начал меня душить, и душить по-настоящему. Только тогда до меня дошло, что я несколько переоценил талант однокурсника и что дело серьезное. Лейтенант оттащил Томаша от меня, куда-то позвонил. Прибежали два санитары с носилками. Томаш к тому времени устаканился. Застыл в какой-то скрюченной позе и стал похож на полярника, много лет пролежавшего в вечной мерзлоте и обнаруженного челюскинцами...



Причину этого странного припадка позже объяснил врач. Неделю пить горькую, весь день ничего не есть, два часа трястись в темном автобусе и вместо ансамбля Кунаева оказаться в казарме, где мимо тебя пронеслось семьдесят человек, отдающих честь тумбочке, — вот тебе и вся причина поехавшей крыши...

Унесли Томаша — надежду и опору мою на ближайшие полтора года. Остался я один. Подходит ко мне доброжелательный такой дядька — старшина, пожал руку и говорит:

— Побудь последнюю ночь гражданским. Сам найди себе койку. Рота еще формируется, перекантуйся одну ночь.

Вхожу в казарму. Горит тусклая синяя лампочка. Почти ничего не видно, но слышно, что рота уже дрыхнет — сопит, храпит и бредит во сне. А один несчастный бормочет довольно громко:

— Наташа, не надо! Наташа, не надо!

Что же такого, думаю, должна была проделать с парнем Наташа, что он и во сне просит: «Не надо!».

Пробираюсь между нарами. На некоторых сдвоенных кроватях спят и по три человека. Постельное белье не у всех. Кое-кто просто на матрасе и с одеяльцем поверх. Где же мне пристроиться? Тут вижу я в полутьме, в самом торце казармы, особняком стоящую кровать. Делаю шаг и спотыкаюсь. Оказывается, кровать стоит на небольшом возвышении, вроде как на помосте. Я тихонько раздеваюсь, вещи аккуратненько, по-домашнему кладу на табурет и буравчиком ввинчиваюсь под одеяло. Хорошо-то как, Господи! Может, последнюю ночь сплю по-человечески. Подушка — пуховая, простыня — накрахмаленная, спокойной ночи, Юрик! И вдруг — вспышка света. Зажглись все лампы. Стоит старшина, держит в руках мои шмотки и орет:

— Куда же ты, падло, на кровать героя улегся?!

Я ничего не понимаю, начинаю вертеть башкой. Вижу только перепуганные лица проснувшихся солдат. Тогда старшина уточняет:

— Поверни свое хлебало назад!

Поворачиваю голову и вижу: рядом с кроватью стоит свежепокрашен-



ный бюст, а под ним табличка. Читаю: «Герой Советского Союза В. Николаев — навечно зачислен в список роты».

Так за первый день службы я успел потерять своего будущего однополчанина и осквернить ложе героя...

## Служили два товарища

Наутро мне выдали форму х/б и совершили постриг в солдаты. В прямом смысле слова. То есть подстригли меня следующим образом: одну половину головы обрили наголо, а другую оставили нетронутой. Волосы у меня в ту пору были до плеч. Получился персонаж из фильма ужасов про индейцев. Стриг меня дембель механической машинкой и приговаривал нежно:

— Вот какой у нас красивый артист, никогда такого красивого не видел...

Сижу пришиваю красные погоны к форме, входит Томаш. Меня не видит. Настроение у него вроде приличное, пришел в себя. И тут он заметил меня. Сразу сбледнул с лица, слегка закачался. Ну, думаю, начинается рецидив «косяка». Подхватываю его, говорю:

— Спокойно, все нормально. Это по новому приказу министра обороны всех срочников с высшим образованием так стригут. Чтобы отличить можно было.

В общем, успокоил, как мог, выздоравливающего.

Через час для симметрии мне обработали и вторую половину головы.

Утром нас погнали на железнодорожную станцию для разгрузки цемента. Шли мы — второй взвод — через поселок Песочный. И почему-то почувствовал я себя не солдатом, а зэком. И сержант наш показался мне конвоиром. А ведь еще позавчера в «Пиквикском клубе» изображали мы английских студентов XIX века...

На путях у состава выдали банные тазики — шайки. Разгружайте! По колено в цементе, без респираторов. Зачерпываешь полную шайку



стройматериала и тащишь до грузовика, там высыпаяешь, и весь цемент тебе в физиономию — в рот, в глаза... После работы тазики приказали взять с собой в полк. На обратном пути у полосы отчуждения сержант нас остановил:

— Нужно вас немного поучить, чтобы служба медом не казалась. Взвод, сидеть! Вприсядку марш!

И пошел второй взвод на согнутых ногах, гремя цинковыми шайками...

В девять вечера начался просмотр программы «Время». Табуретки, так заведено, ставятся в каре напротив телевизора. Наступает «личное время бойца». Просто сидеть и смотреть — не положено. Положено пришивать подворотничок или писать письма домой. Старшине очень нравилось, когда пишут. «Мамке пишешь? Молодец!» В письмах не должно содержаться секретных сведений. Вся корреспонденция может выборочно перлюстрироваться. Предупредили. Письмо одного новобранца нам зачитал замполит: «Здравствуйте, дорогие родители! Попал я в полк имени Ленинского комсомола. Проехать ко мне можно так: от Финляндского вокзала до станции Песочная — электричкой. Оттуда 6-м автобусом пять остановок до ворот части. На КПП дежурят в основном чурки... Я буду гранатометчиком. Это совсем новый, мощный гранатомет. Прилагаю рисунок гранатомета для деда-ветерана... Мама, дембеля говорят, что скоро нас будут сбрасывать с самолета на Новую Землю. Посмотрите по карте, где это. Нам выдадут только ножи, а заберут через неделю. Будут проверять на выживаемость. Я — точно не выживу. Заберите меня отсюда!» И так далее. Чувствовалось, что письмо написано под впечатлением от информационной программы, под аккомпанемент свиридовских позывных из кинофильма «Время — вперед!».

Сидим мы с Томашем, слушаем сообщения ТАСС, и у меня возникает мысль.

- Товарищ старшина, разрешите обратиться?
- Разрешаю.
- Вот у нас стоит мемориальная кровать героя?



ЮРИЙ СТОЯНОВ



- Ну стоит.
- На построении сегодня его выкликают, а Дурдыев отвечает, что Герой Советского Союза Николаев — навечно в списках роты?
- Ну.
- Бюст красивый стоит?
- Стоит. Сам красил.
- А почему бы нам, когда смотрим программу «Время», не устанавливать его лицом к телевизору? Чтобы был в курсе. И на построениях ставить первым в шеренге, чтобы был как бы в строю? Это мы с Томошевским сейчас придумали.

Моя творческая инициатива была поощрена первым нарядом вне очереди. Мыл сортир. И Томаш мыл. Пострадал ни за что. Вторую часть наряда отбывали на подоконниках: из газет надо было вырезать только белые полосочки и ими оклеивать окна с помощью мыла. Эту подготовку к зиме мы закончили часа в три ночи. Тогда я сказал Томашу:

— И вот так, как сегодня, будет все полтора года. Все сто восемьдесят два дня.

Сказал эту зловещую фразу и тут же испугался, что его опять поведет. Но обошлось. Ночью мы залезли под кровать и в темноте, на каком-то клочке бумаги, огрызком цветного карандаша, на полу, написали наше историческое письмо Георгию Александровичу Товстоногову.

Письмо напоминало гневное последнее слово революционеров на суде: мы «благодарили» Большой драматический театр и лично главного режиссера за «заботу». Спасибо, мол, дорогой Георгий Александрович, за школу мужества, в которую вы нас пристроили. И если вам в театре нужны два хороших охранника, то через полтора года вы их получите...

Некоторое время спустя (когда мы вновь оказались в театре), секретарь Георгия Александровича рассказала нам о реакции Мастера на наше послание. Во-первых, Товстоногов был ошеломлен огромным, буквально не поддающимся исчислению количеством ошибок. Письмо Вани Жукова «на деревню, дедушке» являло собой, вероятно, грамматический



шедевр по сравнению с нашим. Товстоногов объяснил это по-своему, по-режиссерски: «До какого состояния нужно было довести людей с высшим гуманитарным образованием, чтобы они написали это?!» (Сейчас прикидываю: а если бы мы не сделали ни одной ошибки, как бы сложилась наша судьба?) Во-вторых, Товстоногова удивил сам тон письма, беспрецедентный для молодых артистов в нашем театре. Если подневольный люд позволяет себе, бия челом, возмущаться своей долей в такой дерзкой форме, значит дело серьезное. Вероятно, так он рассудил... Короче, письмо сработало. Гога (так в БДТ все любовно называли Георгия Александровича Товстоногова) учинил жуткий разнос директору. Выяснилось, что на сборном пункте перепутали списки и в блатной ансамбль попали выпускники Института физкультуры имени Лесгафта...

Прошла неделя. Подметаем мы с Томашем дорожки и видим, как от КПП идет заместитель директора театра Андрей Аркадьевич Бобыльков. Мы бросились ему навстречу так, как будто роднее человека у нас не было. Он нас обнимает. Мы душим в объятиях его. В общем, сцена встречи семьи, которую разъединила лихая година, и вот, много лет спустя, уже взрослые сыновья нашли своего папу...

Георгий Александрович поступил очень мудро, послав нам на выручку именно заместителя директора по хозяйственной работе. Это был знак того, что в театре не намерены мириться с пропажей части театрального имущества (то есть Стоянова и Томошевского). Кроме того, Бобыльков, как опытный хозяйственник и снабженец, поставил отношения театра и полка имени Ленинского комсомола на бартерную основу.

Через час после разговора между заместителем директора и начальником штаба нам выписали увольнительную и в черной «Волге» мы покатали домой — на Фонтанку. А театр был нашим домом и в переносном, и в прямом смысле слова: общежитие находилось прямо во дворе театра...

Приехали. Стоим за кулисами. Финал спектакля «Прошлым летом в Чулимске». Мы в сапогах, в хэбэшной форме. Затухают аплодисменты.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

Артисты начинают проходить мимо нас. Мы радостно здороваемся. В ответ — вежливые кивки. Нич-ч-чего не понимаю! Нас ведь очень любили и опекали... В театре всегда работали солдаты из разных частей: то снег разгребут во дворе, то мусор вывезут. Вот и приняли нас, обритых наголо, за этих подшефных. Не узнали даже на близком расстоянии. И только З. М. — Зинаида Максимовна Шарко, игравшая в одном из спектаклей роль моей матери, воскликнула:

— Сынку! Що ж вони з тобою зробили? — и заплакала... (Мы с нею любили поболтать на украинском языке.)

Пролетело четырнадцать дней. За это время сыграли мы несколько спектаклей: в одном из спектаклей гримеры за сутки (!) сделали нам парики. И вот на той же театральной черной «Волге» (!) нас провожают в полк. В багажник машины загрузили подарки от осветительного цеха — ящик киловаттных ламп, от монтировщиков сцены — ящик гвоздей, от бутафоров — ящик краски, от администраторов — расписание спектаклей и контрамарки для командования на любой спектакль. (А попасть в БДТ тогда было ох как не просто!)

Везет нас директорский шофер Коля, болтаем по дороге, и вдруг у меня возникает совершенно необъяснимое чувство тревоги. Такое ощущение, что должно произойти что-то нехорошее. По какому-то наитию говорю Томашу:

- Покажи увольнительную!
- Зачем? — как-то игриво переспрашивает он.
- Покажи, говорю!
- Юсик, все нормально.
- На сколько дней было увольнение?
- Ну, на четыре.

И заржал.

— Нас же две недели не было в части, это же не увольнение, а отпуск! Ты же мне сам сказал, что у нас четырнадцать дней в запасе. Увольнительная же была у тебя, гад!

- Юсик (это он меня с института так называл), я еще в части к



четверочке единичку пририсовал, получилось две недели. Что тебе, кисло было?! — И развалился на заднем сиденье, как король на именинах.

Воспитанный на лучших образцах литературы о войне, я изрек:

— Все. Это — трибунал.

У Томаша свои аргументы:

— Кому ты на хрен нужен — расстреливать тебя. Им лампы нужны и гвозди.

Подъехали к воротам части. И когда нужно было выходить из машины, я понял, что у меня отнялись ноги. По-настоящему отнялись ноги! С Томашем началась истерика, он ржет и говорит при этом:

— Выходи, Маресьев, выходи!

А шофер Коля, задыхаясь от смеха, приговаривает:

— Все это, конечно, смешно, но все равно вам ребята — п...ц!

Еле волочу конечности. Солдаты тащат ящики к штабу. Томаш идет за мной и напевает:

— Топ, топ, топает малыш...

...Очень нелегки первые шаги.

Взял мой однокурсник реванш за тот первый день нашей службы, оттянулся по полной программе. Но, слава Богу, прав оказался Томаш, а не я.

Никто не задал нам ни одного вопроса, не сказал ни слова по поводу нашего отсутствия.

В кабинете начальника штаба перед нами предстала сцена из «Скупого рыцаря». Подполковник склонился над нашими ящиками. В одной руке он держит киловаттную лампу, другой нежно поглаживает ящик и приговаривает:

— Ах ты, Господи, ах ты, Господи...

Затем наступает гробовое молчание. После паузы подполковник вытирает платком пот со лба и на выдохе произносит:

— Господи, я же теперь ими все посты освещу!!!

Это был предпоследний день нашей службы в школе сержантов в полку имени Ленинского комсомола.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

В память о нашем недолгом пребывании в казармах стояли свежескрашенные бюсты, была надежно приколочена гвоздями наглядная агитация и ночью часовых на вышках было видно издалека.

Потом мы попали в ансамбль 76-й Военно-воздушной армии. Назывался он «Политбоец». Организовал его для своего удовольствия замечательный дядька, начальник политотдела Управления ВВС Северо-Запада генерал-лейтенант Лезин Андрей Николаевич, а непосредственно руководил нами Капуллер Илья Фроимович. Больше никогда в жизни я не встречал такого словосочетания: подполковник Фроимыч. Главной задачей ансамбля было исполнение песен, сочиненных генералом Лезиным. Например:

Зловещие ракеты нацелены на нас,  
Нам злые силы вновь грозят войною,  
Но мы готовы выполнить приказ  
И с честью отразить врага любого.

На мое предложение вместо последней строчки петь: «...и отразить врага любой ценою» был получен отказ.

Потом мы разучивали:

Ведь мы механики авиационные,  
Надежный страж родной страны,  
Готовим в бой машины грозные,  
Чтобы уберечь от войны мир.

В ответ на вопрос, нельзя ли спеть: «...уберечь мир от войны», я услышал:

— На гражданке будешь рифмовать!

Но чтобы петь в рифму и в армии, я сочинил «Солдатскую актерскую песенку»:



ЮРИЙ СТОЯНОВ



После вторника — среда,  
И четверг — за поворотом.  
Дни проходят, как всегда,  
В ожидании субботы.

Подтяните ремешок  
И проситесь в увольнение.  
Как в жару — воды глоток,  
Для солдата — воскресенье.

Застегнешь зеленый ворот,  
Выйдешь, сразу всех любя...  
Как же твой огромный город  
Обходился без тебя?!

И в твоих движеньях робость,  
Будто в форме в первый раз.  
Ты — нелепая подробность  
На пути красивых глаз.

Ты знавал аплодисменты,  
Но сегодня станешь ты  
Только крошечным фрагментом  
В пленке мирной суеты.

Что ж, дружок, прибавим шаг,  
А не то часы погубят,  
И ворвемся в дом, где так  
Ждут тебя и очень любят...

Наступает понедельник,  
Семь утра. «Пора. Прости!»  
Красной Армии отшельник,  
По уставу — в монастырь...



**Ансамбль «Политбоец»  
исполняет песни  
генерала Лезина.  
Гонорар за концерт —  
увольнительная домой**



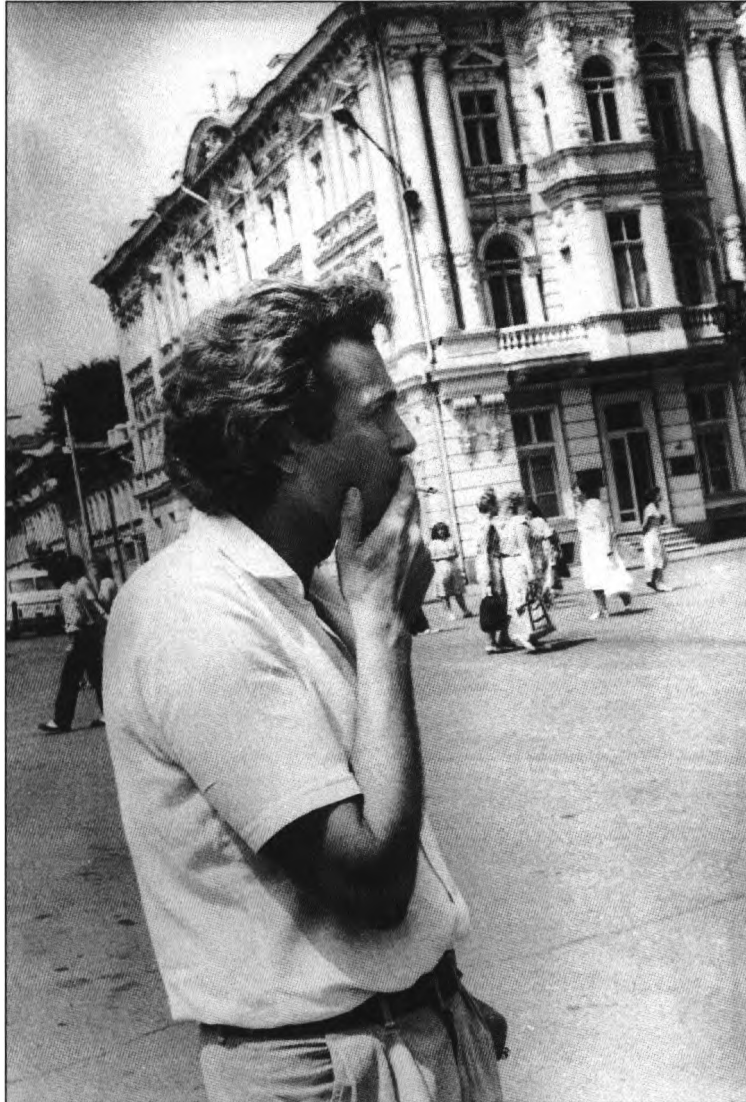
ЮРИЙ СТОЯНОВ



ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО НЕБА  
А ВЗЛЕТАВШИМ В ДНИ И НОЧИ БЛОКАДЫ  
ОДНИИ ЖИЗНИ ОНИ НЕ ШАДЛИИ  
И ОДЕРЖАЛИ  
СРАЖЕНЬЯХ

До встречи в «Городке»  
осталось 48 стр.





**«Рядом с Дерибасовской угол Ришельевской».  
Одесса, 1980 год**





**В кабинете у моей мамы — директора одесского  
Педагогического училища.  
Смотрю на это фото и не понимаю, как у людей язык  
поворачивался называть меня толстым.  
По-моему, не просто худой, а очень худой!**

# Х А Л Т У Р А

Б

ыла у меня в 1981 году мечта. Нет, не Гамлета сыграть. Я мечтал о зимних женских сапогах. Фирменных. Итальянских. Двести пятьдесят рублей они тогда стоили у фарцовщиков. Не поймите меня неправильно! У меня-то сапоги были. А у моей будущей жены — нет...

Знаете, как называется концертный костюм артиста? С подачи Вадима Александровича Медведева концертный костюм артиста — это *кормилец*. А любой побочный заработок театральные актеры называют *халтурой*. Концерты, съемки, радио — все это халтура. Но на халтуре никто не халтурит. Отношение к халтуре — святое. Ведь основные деньги артиста — на стороне.

Еще задолго до перестройки, до образования всяких там преступных сообществ и группировок в актерской среде уже были поделены сферы влияния в том, что касалось *халтуры*.

На ленинградском телевидении во всех детских сказках снималось от силы десять моих коллег, в телеспектаклях — тридцать, на радио звучали шесть до боли знакомых голосов. На дубляже фильмов — своя «братва». Самой демократичной халтурой, в которой могли забить себе нишу все остальные, оставались концерты.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

Моей «крышей» стало Объединение Ленконцерт.

Низкий поклон всем редакторам и администраторам этой конторы. Благодаря им я был сыт и сохранял человеческий внешний вид, достойный артиста Большого драматического театра, в котором мне платили 120 рублей.

Весной 1981-го артистка Ленконцерта Эрна Крепс набирала народ для грандиозной летней халтуры в Ивановской области. Обещали семьдесят «палок» за двадцать один день. Круто? Кстати, «палка» на профессиональном жаргоне — это концерт. И надо вам сказать, что если бригада дает больше двух концертов в день, то такая поездка называется уже не халтурой, а *чёсом*. Ставка у меня тогда была 9 руб. 50 коп. за выход, так что в итоге могла получиться круглая сумма. Хватило бы и на зимние, и на осенние сапоги.

В то время я выступал на эстраде как автор-исполнитель своих песен и всяких пародий. Песни были лирические, пародии — заумные. Правда, на гитаре я играл весьма прилично. Мне было выделено в программе пятнадцать минут. Больше бы я тогда и не потянул. По подсчетам Эрны каждый должен был продержаться на сцене определенное время. Иначе бы концерт «посыпался».

Приехали мы в Иваново. Восемь человек. Среди нас двое из штата Ленконцерта. По сценарной легенде они должны выдавать себя за артистов БДТ. А мы должны их в этом ощущении поддерживать. Ведь на афише написано: «Артисты БДТ на эстраде». Какие именно артисты? Об этом афиша тактично умалчивала. В коллективе не было ни одного «паровоза», то есть актера, которого бы все знали и на которого пошла бы публика. В связи с этим Женя Чудаков предложил Эрне вариант вступительного обращения к зрителям:

— Друзья! Сегодня! На этой сцене! В нашем концерте... народные артисты Владислав Стржельчик, Олег Борисов, Евгений Лебедев и Олег Басилашвили... НЕ участвуют!

Готовимся к первому выезду в райцентр Фурманов. Эрна сообщает:

— Ребята, с нами может поехать директор ивановской филармонии. Наденьте все самое лучшее.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

(Что — «лучшее»? У всех с собой по одному «кормильцу». Он же — и лучший автоматически. У меня был «кормилец» цвета кофе с молоком. К последнему концерту этой поездки цвет молока был вытеснен цветом кофе.)

— Юра, — обращается ко мне Эрн, — вы с Женей Шевченко уже разучили романс?

— Какой романс? Первый раз слышу.

— Ну давайте, давайте, ребятки, у вас еще есть полчаса.

Заслуженный артист Женя Шевченко, милейший человек, работал чтецом в Ленконцерте. В этой поездке по замыслу Эрны он должен был запеть. С моей помощью. Мы на ходу разучили с ним «Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная».

Никакой директор филармонии с нами не поехал. У водителя «пазика» был на руках заказ-наряд. Водитель же был по совместительству и администратором. Звали его Вовой. У Вовы на лобовом стекле был закреплен портрет Сталина. Всю дорогу Вова излагал нам свою теорию относительно того, «почему в стране хреново». По Вовику выходило, что все беды идут от того, что Брежнев хочет лежать в мавзолее рядом с Лениным. Что он (Брежнев) только о том и думает, как бы ему поскорее умереть и перебраться в мавзолей. Кроме того,

Брежнев на самом деле — еврей. Его настоящее имя — Леонид Израилевич Борхес. Еврей, в Вовиной трактовке, это не национальность, а «плохой человек». На вопрос, где в Фурманове у нас будет концерт, Вова буркнул:

— Где надо, там и будет.

Приехали. Когда выходили из автобуса, Вовик решил со всеми познакомиться, чтобы каждый представился согласно списку в его заказ-наряде. Артист БДТ Изиль За-



Халтура на глубине 100 метров под землей — в шахте будущей станции метро. 1982 год (высчитал по транспаранту). Артисты БДТ Толя Пустохин, Леня Неведомский, Жора Штиль и Николай Николаевич Трофимов

харьевич Заблудовский на всякий случай назвался Игорем.

— Ну-ну, Игорь, выходи.

Как вы думаете, где состоялась премьеры нашей программы?

В Доме для умалишенных.

Стриженные наголо мужчины и женщины, одетые в больничную униформу, стали нашими первыми зрителями. Обитатели сумасшедшего дома обедали по расписанию, а мы в это время должны были выступать между столиками в столовой. В порядке психотерапии, наверное. Директор Дома предупредила нас:

— Только, пожалуйста, категорическая просьба — ничего грустного! Здесь возможны неадекватные коллективные реакции. Что-нибудь веселенькое, пожалуйста!

Концерт открывала Эрна белыми стихами Владимира Солоухина под звяканье алюминиевых ложек:

Здравствуйте — то есть будьте в хорошем здоровье!  
Я вам самого главного, самого лучшего в жизни желаю —  
Здравствуйте! Как я рада, что могу вам это сказать!

В столовой слышались первые одиночные всхлипывания. Эрна объявляет:

— Дорогие вы наши! Приятного вам аппетита! Посмотрите сцену из спектакля по повести Валентина Распутина «Последний срок».

Из моечной выходит актриса нашего театра Таня Тарасова в театральном костюме. Рваные валенки, ситцевый платочек, телогрейка... В общем — мало чем отличается от зрителей. Татьяна играет деревенскую



**Попозировать — это мы любим!**



ЮРИЙ СТОЯНОВ

бабку, но первую фразу, вводящую в сюжет, произносит «от автора», с трагической интонацией:

— Старуха Анна дождалась смерти...

Ну а дальше по ходу отрывка старуха Анна долго рассказывает своей соседке, как ее надо похоронить, как обмывать, как отпевать и т.д.

К концу отрывка плач сумасшедших носил уже более организованный характер.

Я стою за стеной и лихорадочно перебираю в голове свой небогатый репертуар. Эрна шепчет на ухо:

— Забуди про свою лирику! Пой что-нибудь чужое. Умоляю, оживи зал!

Выхожу я с гитарой третьим номером и дрожащим голосом затягиваю, непонятно почему, Окуджаву:

Девять граммов в сердце...

Постой, не зови.

Не везет мне в смерти,

Повезет в любви.

Эрна издали покрутила пальцем у виска и махнула на меня рукой. Четвертыми отработали Женя Чудаков и Ира Комарова с какой-то сценкой, в которой, слава Богу, никто не умирал. Зал немного успокоился. Рыдания поутихли. Эрна с облегчением вздохнула.

Закрывал наш траурный вечер Евгений Шевченко. Он с моего разрешения перестроил гитару на семиструнный лад, вышел и запел:

Умру ли я...

Ты над могилою

Гори, сияй, моя звезда!

Провожали нас, естественно, со слезами...

Как вы думаете, где состоялся наш второй концерт?

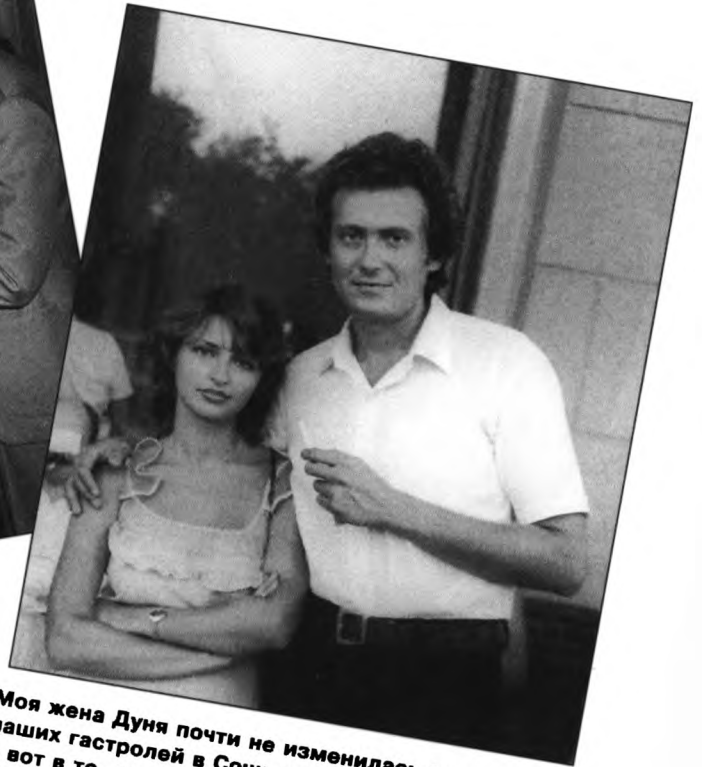
Наш (точнее — мой) второй концерт состоялся в колонии общего режима.



ЮРИЙ СТОЯНОВ



На кого смотрит  
моя невеста Дуня?  
Ясное дело —  
на фотографа.  
Симпатичный  
был парень.  
На кого  
смотрю я?  
Не помню



Моя жена Дуня почти не изменилась со времени  
наших гастролей в Сочи в 1983 году.  
А вот в то, что справа — это я, верится с трудом

Автобус с артистами остановился у ворот зоны, и в него вошел пожилой прапорщик. Он скептически окинул нас взглядом и спросил:

— Ну и какая у вас программа?

Эрна отрапортовала:

— «Артисты театра на эстраде».

— Это которые *говорят* все время? Не-е, это у нас не пройдет. Мы сегодня осужденных в соседний колхоз возили на сельхозработы, поэтому они все пьяные... Я вам наряд не подпишу. Вот если б у вас музыка была...

Все, кто сидел в автобусе, молча повернулись в мою сторону. Я начал перешнуровывать ботинки. Прапорщик спросил:

— А этот, с гитарой, играет или поет?

— И играет, и поет, — ответила Эрна с интонацией гипнотизера.

— Минут сорок продержится?

— Он и час продержится.

— Ну, пусть следует за мной.

Женька Чудаков напутствовал:

— На выход с вещами!

Когда передо мной со скрипом открылись железные ворота зоны, я обернулся и посмотрел на наш автобус. От него бежал ко мне Женька и размахивал шнурком от моего ботинка.

...Я так и не понял, были в этот день ээки пьяными или трезвыми, но этот концерт стал одним из лучших в моей жизни. Первый мой сольный концерт.

Я стоял в маленьком зале под плакатом «На свободу — с чистой совестью!» и говорил:

— У меня в руках гитара. Классическая шестиструнка работы ленинградского мастера Вениамина Михайлова. Гитары бывают кленовые, ореховые, красного дерева. Дешевые делают из сосны и березы. Мой инструмент сделан из палисандра. Поскольку сам палисандр, или его шпон, должны быть многолетней выдержки, то, как правило, корпус изготавливается из деки старинного рояля. Для этого рояль надо...

— Стырить, — перебил меня пожилой ээк.



ЮРИЙ СТОЯНОВ





**Когда у артиста мало ролей в театре,  
он может позволить себе иметь много волос на голове.  
Очередная халтура в очередном красном уголке.  
1990 год...**

**А гитару я всегда обертывал фланелью,  
чтобы не поцарапать**

— Нет. Его нужно сломать.

— Замочить, — поправился зэк.

— Или так, — согласился я. — Таким образом большой инструмент, умирая, как бы дает жизнь маленькому.

Вот такое я ввинтил вступление. А потом начал петь все блатные песни, которые знал. Зэки подпевали... Напоследок подарили мне наборную самодельную шариковую авторучку из цветных пуговиц. «Какие милые люди», — подумал я. Один зэк, прощаясь со мной, пожал руку и хриплым голосом попросил:

— Передайте, пожалуйста, Брежневу, как нам здесь плохо. Хозяин лагеря, сука, голубю — птице мира — голову оторвал.

Когда прапорщик подписывал нам наряд за состоявшийся концерт, то объяснил, что голубь-почтовик доставлял в зону с воли пакетики с коноплей...

Кинешму, Плес, Заволжск, Фурманов, Палех и еще много городков, поселков и деревень объездили мы тогда. Нищета и запустение российской глубинки тех лет потрясли нас. Нас, живущих в Питере, который снабжался по первой категории. Нас — артистов привилегированного театра, иногда выезжающих за границу. Нас, приехавших в Ивановскую область, чтобы заработать на зимние итальянские сапожки.

Прошло много лет. Мы уже познакомились с Ильей Олейниковым. Он работал на эстраде, я еще служил в театре. Когда Илья уезжал в какую-нибудь поездку, я спрашивал:

— На халтуру едешь?

Он обижался:

— Это для тебя — халтура, а для меня это — работа!

В 1995 году я ушел из театра. И теперь мы с Олейниковым вместе выходим на эстраду.

Теперь это и моя работа.

# МЫ

*едем, едем, едем..*

## Заповеди «ВЫЕЗДНОГО» артиста

Мы едем, едем, едем  
В далекие края —  
Хорошие артисты,  
На первый взгляд — друзья!

Эту, немного переиначенную, детскую песенку любил напевать народный артист России Юра Демич, направляясь с родным БДТ в очередную поездку.

Многие доперестроечные годы важнейшим стимулом и двигателем прогресса были в театре гастроли. Зарубежные, конечно. И я счастлив, что благодаря БДТ побывал в Германии, Польше, Швейцарии, Индии, Японии и даже на Тайване. Побывал в ту пору, когда о таких поездках простые смертные могли лишь робко мечтать.

Есть такой анекдот: действие происходит в Южно-Африканской республике, тогда — в стране апартеида. Едет междугородный автобус. Пассажиры — вперемешку белые и чернокожие. Один черный задремал и положил голову на плечо белому соседу. Белый его пихнул. Черный ответил. Началась потасовка. В драку ввязался весь автобус. Все вывалились в саванну и мочалят друг друга на приро-



ЮРИЙ СТОЯНОВ

де. Белые — черных. Черные — белых. Вдруг один гуманист воздел руки к небу и заорал:

— Люди, остановитесь! — Народ прислушался. — Будьте людьми! До каких пор мы будем делить друг друга на белых и черных?! Давайте объединимся по новому принципу: мы все будем зеленые. Мы будем бороться за охрану окружающей среды. Долой расизм! Не будет больше ни черных, ни белых, будут только зеленые. Сейчас мы все войдем в автобус и мирно рассядемся... темно-зеленые — на задние сиденья, светло-зеленые — на передние.

...Однажды я, молодой и шустрый, вскочил в автобус (дело было как раз на гастролях) и уселся на свое любимое с детства место — сразу за водителем. Заведующая труппой, милая, очаровательная женщина, смущаясь, объяснила мне:

— Юрочка, здесь уже есть кому сидеть. Вы еще просто не в курсе. Ваше место в конце автобуса. Не обижайтесь!

Так и расселись мы однажды и навсегда в нашем театральном автобусе: светло-зеленые — впереди, темно-зеленые — сзади. И мне было хорошо, уютно и весело рядом с темно-зелеными...

За восемнадцать лет работы в театре я сумел усвоить восемь заповедей выездного актера. Вот они:

1) Хорошо изучи свой аппетит накануне поездки, прислушивайся к желудку, составь рацион. Представь себе, что ты космонавт или что уходишь в автономное плавание на подводной лодке.

2) Главное, что ты должен знать о будущей стране пребывания, — это какое напряжение у них в сети.

3) Нож, отвертка и изолента помогут тебе внедриться в любую розетку без переходника.

4) Поскольку тебе предстоит питаться концентратами и консервами, содержащими консервант, не забудь о пачке слабительного и пачке соды.

5) Захвати с собой продукты питания, отбивающие аппетит.

6) Запасись жевательной резинкой или дезодорантом для рта. Понадобятся уже через неделю.



7) Не забудь о концертном костюме. Может состояться шефский концерт в посольстве. Там обычно кормят.

8) Не стесняйся брать с собой много продуктов. Не комплексуй перед именитыми старшими товарищами. Запомни: в чемодане любого артиста, будь он даже народным СССР, то же, что и в твоём.

Итак, чемодан упакован. В путь.

## Наши в городе

Первыми моими гастролями могла стать поездка в Болгарию в 1982 году. Мне, болгарину по отцу, очень хотелось там побывать. Комсомольское собрание накануне выезда проходило быстро и формально. Но когда дошли до фамилии Стоянов, пришла заведующая отделом кадров и начала допрашивать меня: почему я развелся с женой. Дело, скорее всего, было не в разводе. Вероятно, у товарищей возникли опасения, что в Софии многочисленная и любвеобильная болгарская родня уговорит меня остаться на исторической родине моего отца. Но поскольку еще не прошло года со дня развода, в Болгарию я не поехал. Первой моей «заграницей» стала Польша 1983 года.

Варшава. Гостиница «Интерконтиненталь» — пятизвездочная. Фантастика! Номер на двоих. Сосед — Саша Романцов. В цокольном этаже — бассейн и сауна. Бесплатно. Из окна номера видны красивая площадь и Старо Место. На брусчатке площади тысячи огромных горящих свечей образуют крест. На этом месте выступал Папа Римский Иоанн Павел Второй, поляк. Напротив отеля — оперный театр, в котором нам работать.

Польша в 1983 году жила по карточкам. Непокойное было время. Набирала силу «Солидарность», на улицах мелькали антисоветские лозунги.

Наше Министерство культуры решило на свой манер укрепить дух поляков и прислало им в качестве идеологической поддержки спектакль о Ленине, в котором помимо вождя революции фигурировал и особо «почитаемый» поляками «железный Феликс» — Дзержинский.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

В этом спектакле, называвшемся «Перечитывая заново», я играл ответственную роль секретаря Ленина и произносил одну-единственную фразу: «Владимир Ильич, к вам пришел какой-то часовщик». (С этой «хохмой» я побываю еще в нескольких странах светлой памяти Варшавского договора.) Классическая роль из разряда «Кушать подано» так меня достала, что я разразился песенкой, которую назвал «Монолог секретаря В.И.Ленина». Однажды на банкете по случаю пятидесятилетия Кирилла Лаврова, игравшего в том спектакле вождя, я спел ее для юбиляра, появившись в гимнастерке, сапогах и... в парике лакея Сальери (роль Моцарта в «Амадеусе» я получил не сразу — сначала учился подавать камзол). Вот эта песенка:

Пусть у нас расписаны все роли  
Где-то на пятнадцать лет вперед,  
Все равно я еду на гастроли  
И вхожу по трапу в самолет.

Я — не Лир, не Гамлет, не Каренин,  
На ролях не притупил язык.  
«Извините, к вам, товарищ Ленин,  
Там пришел какой-то часовщик».

Что дала ты, новая эпоха,  
Юному актеру на кулич?  
Быть лакеем все же очень плохо,  
Даже если твой партнер — Ильич.

От Москвы до Сочи и Тюмени  
Шепот мой перерастает в крик:  
«Извините, к вам, товарищ Ленин,  
Там пришел какой-то часовщик!»

Все наоборот в моей карьере —  
Нет ни повышений, ни чинов.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

Нынче я лакеем у Сальери,  
Но теперь совсем уже без слов!

И когда встаю я на колени,  
Нацепив напудренный парик,  
Я хочу, чтоб к вам, товарищ Ленин,  
Приходил почаще часовщик.

Юбиляр и его гости очень смеялись...

Однако вернемся в Варшаву, где идет наш первый гастрольный спектакль. По трансляции слышно, что зрителей в зале много. Что странно. И тревожно как-то. Меня лично особенно беспокоит массовый проход артистов через партер в финале второго акта, когда мы идем с винтовками, пулеметами, транспарантами вдоль рядов. Привыкший оценивать ситуацию по-одесски, то есть всегда предполагая худшее, я опасаюсь сюрпризов при близком контакте с публикой. Покидание мужественно затапливаемых в первом акте кораблей, с моей точки зрения, также может быть чревато получением подножки от представителей братского народа.

Ленина, как я уже говорил, играл Кирилл Юрьевич Лавров, а инженера Забелина — Владислав Игнатьевич Стржельчик. Я, секретарь вождя, должен ввести Стржельчика в кремлевский кабинет. В это время шла сцена с часовщиком, которого в очередь играли Олег Борисов и Николай Трофимов, потрясающие актеры. Это была единственная смешная сцена в спектакле (благодаря часовщикам, разумеется). Стржельчик стоит буквой «Г» за кулисами, подсматривает в зал. Я — рядышком. А в зале смех. Прием — совсем как дома. И все реакции зрителей — такие же живые. Как будто спектакль идет в Ленинграде.

Стржельчик — волнуется, крестится по-католически. Естественно, ведь в его жилах течет польская кровь! Стою я рядом с великим актером, молчу. И решил «прогнуться», «подшестерить», завязать беседу. Говорю аристократической спине:



ЮРИЙ СТОЯНОВ

— Владислав Игнатьевич, какая хорошая реакция в зале! Как здорово поляки знают русский язык, правда?

Стрельчик повернулся ко мне и «пропел» своим удивительным голосом:

— Какие *поляки*? Идиот! Это же *наших* солдат нагнали! — И пошел на сцену под привычный шквал родных оваций.

Когда зажегся свет в финале, я убедился в правоте его слов. Действительно, нагнали полный зал солдат и офицеров из группы советских войск в Польше. Весь варшавский гарнизон «перечитал заново» биографию человека, которого через десять лет мы изобразим в нашем «Городке» и которого Олейников сыграет смешно и почти без грима.

Это была моя первая и последняя доперестроечная «заграница».

## Олег Басилашвили — потомок Афанасия Никитина

В 1988 году, в начале перестройки, мы поехали на гастроли в Индию. Руководителем поездки назначен какой-то член обкома обновляемой Горбачевым партии. Перед отлетом в тропики — пилюли и прививки под лопатку, после которых актеры старшего поколения еле передвигают ноги. Слабость и недомогание, однако, не мешают всем нам производить закупки мелким оптом — шампанского, сильно пахнущей парфюмерии, заводных игрушек (в городе были скуплены все железные курочки-рябы), дешевой оптики, наручных часов в стиле «а вот у моего дедушки были часы!» и других отечественных товаров для *забодания*. То есть для продажи и обмена. Народная артистка СССР Валентина Павловна Ковель разъясняет:

— Из Индии нужно везти только кожу и камни, камни и кожу! Мех в Индии — говно! Киплинга надо читать!

Валентина Павловна. Всегда в хорошем настроении, яркая, умная, подвижная, безумно смешная и на сцене, и в жизни. Модница.



ЮРИЙ СТОЯНОВ



Не знаю, как остальные, а я сразу решил слушаться во всем Валентину Павловну и «ударить» по коже и камням.

Бомбей. Отель «Оберой». Олег Валерьянович Басилашвили — главный этимолог театра, то есть человек, способный объяснить происхождение любого слова.

Вопрос:

— Олег Валерьянович, а почему отель называется «Оберой»?

Ответ:

— Когда Афанасий Никитин совершал «хождение за три моря», пришел он в Бомбей. Надо как-то расположиться, обустроиться. Сам видишь, как они живут — четыре палки, сверху тряпка, и дом готов. Афанасию Никитину так не пристало. Он говорит Прошке, слуге: «Будем избу ставить, рой яму под фундамент». — «Одну яму рыть-то, ваше благородие? Или две?» — «Чего там, — отвечает Никитин, — обе рой!» Так был заложен отель «Оберой». Основатель — Афанасий Никитин. Вот так.

Вопрос:

— Олег Валерьянович, а почему город называется Бомбеем?

Пауза. Ответ:

— Град сей называется Бомбеем вот почему. Сошел Афанасий Никитин здесь на берег...

— Да, да... это я уже знаю.

— Не перебивай! Местные выскочили ему навстречу. Приветствуют, кланяются. И показалось Афанасию, что недостаточно аборигены прогибаются перед ним — русским первооткрывателем. И он заорал ихнему вождю: «Лбом бей!» Вождь упал на колени и давай — лбом о ракушки. А поскольку индусы плохо выговаривают букву «л», то вождь повторял вслед за Афанасием: «Бом бей, бом бей...» Вот и получилось вместо «лбом бей» — «Бомбей». Спасибо Афанасию Никитину!

— Олег Валерьянович, а Австралия — это тоже благодаря Афанасию Никитину?

— Не совсем.

— Как так?



ЮРИЙ СТОЯНОВ

— Тут дело в генетическом благородстве русского человека. В один и тот же день с Афанасием Никитиным высадился на материк австрийский маршал хер Австрал. И когда царь, указывая на карту, спросил Афанасия: «Ты открыл землю сию?», Афанасий ответил: «Не совсем, государь, землю сию открыли Австрал и я!» Вот и получилось — Австралия. Так и нанесли на карту.

Ну и так далее...

Олег Басилашвили был одним из моих любимейших артистов еще задолго до того, как я попал в БДТ. Избавиться от подражания ему мне стоило больших трудов. Как-то, еще учась в институте, я увидел его в роли Хлестакова и на следующий день угробил наш дипломный спектакль «Много шума из ничего», потому что пытался повторить все внешние приемы, ужимки и манкы чужой, гениально сыгранной роли. Владимир Наумович Леверт — режиссер диплома резюмировал:

— Олегу Басилашвили посвящается наш сегодняшний провал!

Олег Валерьянович один из самых эрудированных артистов, с которыми мне посчастливилось дружить. Он обладает замечательными и довольно редкими для актера качествами — полным отсутствием снобизма, заносчивости и высокомерия. И еще — он артист, постоянно со-



**Олег Валерьянович Басилашвили, народный артист и главный этимолог БДТ, объясняет происхождение очередного слова**



ЮРИЙ СТОЯНОВ

мневающейся в себе, изводящей и себя, и своих партнеров вечным недоверием к кажущемуся успеху...

Сказать, что Бомбей — город контрастов, значит не сказать ничего. Бомбей — город невероятных, чудовищных контрастов. Здесь не бедность соседствует с богатством, а нищета. Середины нет. Самое страшное — невероятная грязь. Грязь, так сказать, с большой буквы, везде и всюду. Плюс экзотические болезни и инфекции, не переносимые европейцами. Воду туристам рекомендуют кипятить не менее тридцати минут. За это время она почти вся выкипает, а на стенках чайника остаются белые сталактиты и сталагмиты. Когда я вернулся в Ленинград и показал свой чайник жене, она буквально потеряла дар речи. Этот чайник, а также спирт и одеколон, которыми приходилось постоянно дезинфицировать руки, спасли мне жизнь.

Во время утреннего морского отлива тысячи индусов, стоящих на обнажившемся дне, медленно-медленно собирают в плетеные корзины ил. Говорят, это хорошее удобрение. Другие тысячи индусов на набережной, возле шикарного отеля, в котором расположилась наша труппа, бегают, прыгают, ползают вокруг тебя, идущего с бутылкой шампанского на забодание, и просят милостыню. Страшное зрелище. К тебе тянутся руки (у кого их две — это хорошо), покрытые язвами, и требуют денег.

— Нету, ребята, денег. Нету... пока! Ноу мани, ноу! — кричали мы



*Индия, 1988 год. Встреча с бомбейской интеллигенцией. Жарко. Очень хочется пить. Однако ни я, ни Олег Басилашвили, ни Кирилл Лавров не притронемся ни к «Фанте», ни к «Кока-коле». Опасно*

с моим другой Володей Козловым, пробираясь сквозь толпу нищих и калек. Миновав тех и других, забегаем за угол и начинаем протирать руки одеколоном. Бежим дальше. Ага, вот эта улица, вот этот дом — начинается район магазинчиков, лавок и торговых рядов. Бегают мальчишки, заподозрившие в нас русских, и кричат (хотите верьте, хотите нет):

— Вова, купи х...ню! Вова, купи х...ню!

То, что они предлагают купить, другим словом, впрочем, и не назывешь. Иду и думаю, что же это был за *Вова*, который все это скупал? Но тут подъехал целый экскурсионный автобус этих наших *Вов* и начался обмен нашей... на ихнюю... Вечером Олег Валерьянович Басилашвили высказал свою догадку происхождения этого рекламного лозунга. Его версия на сей раз оказалась не связанной с Афанасием Никитиным:

— Это же самое распространенное выражение у моряков и туристов! Заходят, к примеру, двое наших в лавку. Один другого спрашивает: «Ну, че, будем покупать?» А второй в ответ: «Да ну, х...ня!» Вот индусы и думают: что же это за ... такая, которую русские все время ищут?!

...Подходят к нам два местных джентльмена. Не ползают, не хромают, руки-ноги на месте — и на том спасибо. Предлагают купить шампанское. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Дают, по-моему, по 15 рупий за бутылку. Пошел торг. Ну, думаю, сейчас моему придется раскошелиться. Дело в том, что родители прислали мне из Одессы две бутылки самого дорогого и дефицитного по тем временам «Голден шампейн» — «Золотого шампанского», которое разливалось не в зеленую, как обычно, а в прозрачную тару. Для красоты. Ребятам я его не показывал, чтобы не возникало предложений насчет дегустации. Отвожу индуса в сторону и говорю:

— Счас я тебе покажу такое, чего ты здесь никогда не видывал. Голден шампейн! Андестенд? Понимаешь? — И достаю свои бутылки.

Он их как увидел, так замахал руками:

— Ноу, ноу! Голден — ноу! Грин бутылка давай!

— Стояшкин, чего там у тебя? — кричат коллеги.

— Нормально все, — отвечаю и продолжаю разборку с индусом: —



Зачем тебе в зеленой бутылке? В прозрачной — дороже, лучше. Это взри экспенсив шампань, понимаешь? Но я тебе, скупая твоя морда, отдам его по цене зеленой бутылки — грин бутылки, понимаешь? Хрен с тобой!

Бизнес не состоялся. Ребятам, которые идут уже налегке и при деньгах, я сказал, что индус мало денег предложил и что лучше мы это шампанское выжрем, протерев предварительно бутылочку платочком, смоченным в еще непроданном, или необмененном, или неподаренном одеколоне. Что мы и сделали по пути в гостиницу.

Через неделю я узнал, для чего нужно индусам советское шампанское.

Наши друзья из торгпредства повезли нас на приличную ювелирную фабричку, к своим знакомым. Делают там все по-настоящему, «без дерибаса». Когда я рассказал хозяину про белую бутылку от «золотого шампанского», он долго смеялся, а потом все объяснил. Оказывается, индусы вообще не пьют шампанское. Его они просто выливают в сортир. Им нужна именно бутылка. И именно зеленая бутылка. И эту зеленую бутылку, которая им нужна, они разбивают. Потому что от зеленой бутылки им нужно только зеленое донышко. Из него гранят «изумруд», вставляют в оправу и втюхивают тем же русским. Так что, как говорится, от нас пришло — к нам и вернется.

Главные события индийских гастролей развернулись в Дели, но прежде чем рассказать о них, — маленькое отступление в жанре «черной лирики», посвященное нашему пребыванию в Калькутте.

...О, Калькутта, я запомню тебя навсегда! Особенно фуршет на парходике, шедшем по Гангу.

Несет свои мутные воды священная река в Индийский океан. Плы- вем вверх по течению с фужерами в руках. Халява, сэр! На набережной прямо в воду сходят каменные ступени. Молящиеся в реке совершают омовение и... пьют воду, которую мы кипятим 30 минут. Уже за горо- дом на берегу кое-где виднеются костры. Это отправляют в последний путь усопших. Их здесь не предают земле, а по обычаю сжигают... А на парходике весело. Звучит очередной тост за советско-индийскую дружбу. Поднимаем фужеры... и тут я вижу нечто такое, после чего еще



ЮРИЙ СТОЯНОВ

долго не мог ни пить, ни есть. Плывет по реке труп. На нем сидит огромный то ли гриф, то ли орел, и поклевывает. Дальше — хуже. Еще труп, и еще, и еще... И на каждом — по пернатому... Оказывается, в бедных семьях не хватает денег на бревна для достойного костра. Поэтому они исполняют обряд сжигания формально и отправляют родственников в вечное плавание. И вот плывут они мимо участников фестиваля дней советской культуры в Индии...

О, Калькутта, спасибо тебе за то, что ты подарила нам с Володей Козловым шестиногого друга! Мы нашли его на дне сковородки с тушенкой в ванной комнате нашего номера. Десятисантиметровый таракан! Мы поселили его в банке и назвали Кузей, в честь руководителя поездки. И питался он не хуже своего тезки (во всяком случае, теми же продуктами). И еще, Калькутта, я благодарен тебе за то, что здесь меня нашла чужая слава. Весь город был оклеен плакатами с физиономией местной кинозвезды, смазливого актера, на которого я был безумно похож. Под смех моих друзей я раздавал автографы мальчишкам и грелся в лучах его славы. И если со мной когда-нибудь, что-нибудь случится — пусть знает Олейников, что где-то в Калькутте живет мой двойник.

А теперь прощай, Калькутта! Мы улетаем в Дели. Там, в столице, развернутся главные события.

## Человек меняет кожу

«Неужели это тот самый, прославленный, легендарный БДТ? — спросишь ты, читатель, пролистав эти страницы. — Неужели эти актеры только и делали, что хохмили и таскали чемоданы со снедью в одну сторону и с барахлом в другую?» Нет, конечно. Но писать о том, как они замечательно играли и играют, — дело театральных критиков. Я же буду рассказывать о том, о чем обычно рассказывают актеры, сидя после спектакля в хорошей компании. Потому что я сам актер. А насчет чемоданов замечу: за свой труд и талант наши актеры всегда



ЮРИЙ СТОЯНОВ

получали очень мало. А теперь — еще меньше. Им так же трудно, как и большинству людей в нашей стране. Им тоже приходится выживать. И к тому же они просто обязаны «держать форму»: ведь актеры всегда на виду.

Заботы об этой самой форме не оставляли нас и в Индии. Усвоив от Валентины Павловны Ковель, что тут надо покупать кожу, мы посвящали этому занятию все свободное от спектаклей и экскурсий время.

Скажу сразу: для того, чтобы делать покупки в Индии, не мешало бы запастись прибором ночного видения. Идешь мимо лавки — внутри горит свет, все видно. Как толькоходишь — свет гаснет. Хозяин начинает сокрушаться, языком жестов поясняя, что, мол, авария, но сейчас он сам даст свет. Выбегает на улицу и включает дизель, стоящий у входа. Загорается пятнадцативаттная лампочка. Можно торговаться.

— Ай вонт портмоне! — кричит Олег Басилашвили. Кричит, потому что дизель работает, ничего не слышно.

Хозяин в темноте что-то протягивает артисту. Артист нащупывает это нечто и снова кричит:

— Это ко-о-о-жа?

— Ко-о-о-жа! Ко-о-о-жа! — орет в ответ хозяин. — Вери гуд ко-о-о-жа!

Олег Валерьянович подносит портмоне к глазам, вертит его в руках, мнет, нюхает, пытается вывернуть наружу и снова кричит:

— Эт-о-о не ко-о-о-жа!

А индус в ответ радостно, как эхо:

— *Не* кожа! Вери гуд *не* ко-о-о-жа!

И так изо дня в день, в каждой лавке.

Я не большой спец в иностранных языках, но такого английского, как в Индии, я, говоря словами Гоголя, «нигде никогда не слыхивал». Послали Маугли в Китай и там научили английскому.

— Уань, тю, сри, — это продавец сосчитал до трех.

— Сенкя, сера, — поблагодарил вас официант.

Но нашего брата они понимать научились...



# Про то, как поссорились Владислав Игнатьевич с Раджем Сигхом

Купил Владислав Игнатьевич Стржельчик гарнитур — кольцо, серьги и браслет из драгоценных камней — своей жене, Людмиле Павловне Шуваловой. Красивый жест красивого мужчины в адрес красивой женщины. Когда эта роскошная пара выходила из театра, время, казалось, поворачивало вспять. Как в песне Окуджавы: «Извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается...», а рядом дефилируют Стржельчики. Итак, купил Владислав Игнатьевич гарнитур своей жене. Купил в солидном магазине, где не выключают свет при виде покупателя, где не надо орать, где сертификат выдают, не говоря уже о бархатной коробочке. К слову сказать, покупка делалась в присутствии жены и была ею одобрена. Людмила Павловна — режиссер БДТ, поэтому тоже с нами в Индию ездила.

Показала она подарок нашим актрисам. Окружили ее женщины, стали рассматривать цацки. И у каждой, откуда ни возьмись, в глазу по окуляру — рабочему инструменту всех часовщиков и ювелиров. Жуткое зрелище! Начались комментарии и приговоры:

- Люда, смотри, здесь на камне — скол.
- Люда, а вот на оправе — царапина.
- Да... одно слово — Индия.
- Владик сошел с ума!
- А вот здесь вообще камушка не хватает.
- Но в принципе — ничего, симпатичная вещица...

Короче говоря, порадовались за подругу.

Расстроились Стржельчики. Еще бы, истратили на этот гарнитур половину суточных!

В театре в ту пору существовала странная уверенность в том, что я знаю английский. (Им владела моя жена, работавшая в литературной





части БДТ, и, вероятно, в труппе полагали, что знание иностранного языка передается мне просто половым путем.) Познания мои были на уровне «вот сайз? вот прайс?» — то есть «какой размер?» и «сколько стоит?». Наслушавшись в свое время «Голоса Америки», я нахватался интонаций и ловко пародировал ведущих радиопрограмм. Этого хватило для укрепления мифа. Вот почему Владислав Игнатьевич в трудную минуту решил заручиться моей поддержкой:

— Котенок (это было его любимое обращение, и звучало оно в его устах как «коченок»), помоги, родной!

«Родной» — еще одно любимое его обращение.

— Что случилось, Владислав Игнатьич?

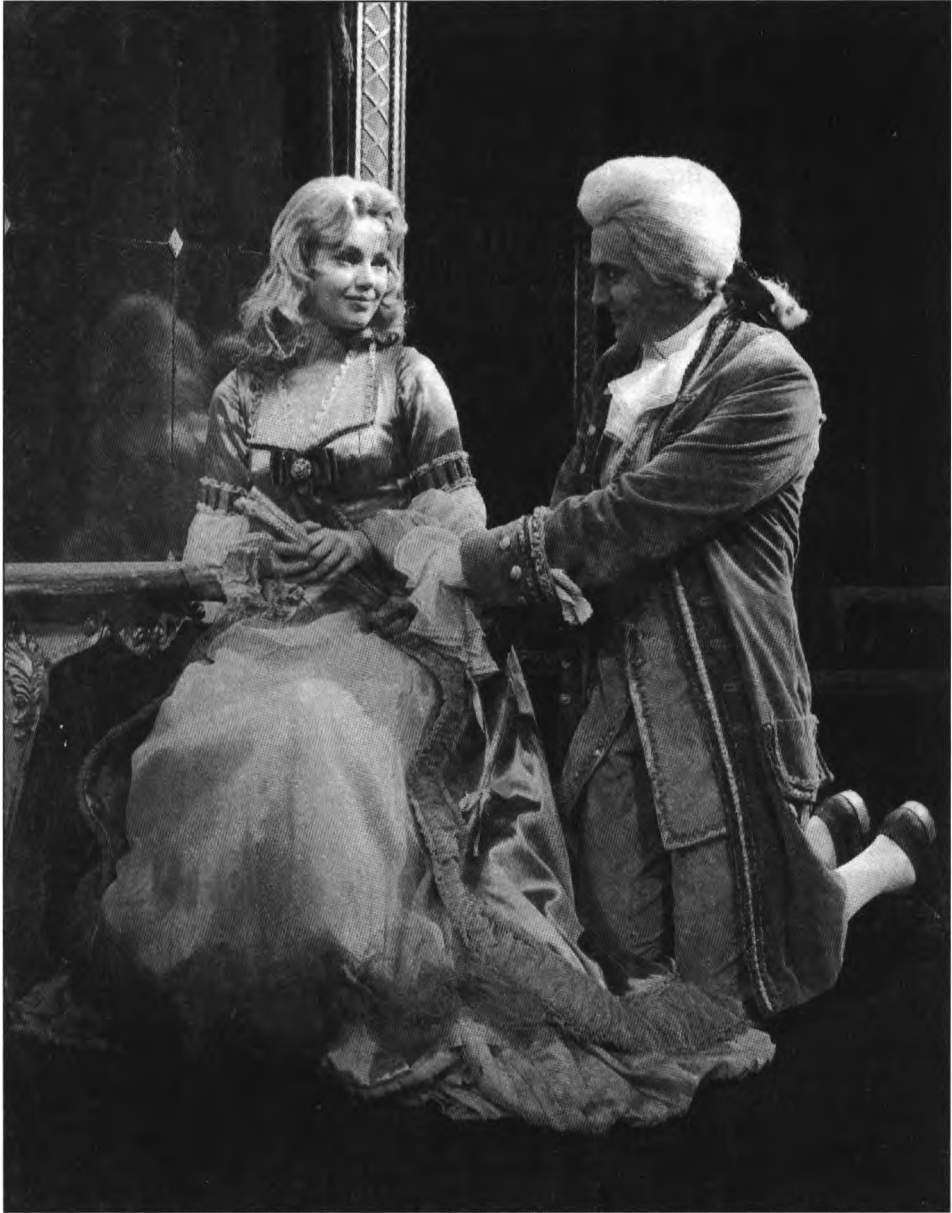
— Понимаешь, котенок, хотел сделать Людочке подарок, но одна дрянь в чалме всучила мне говно. Ты прекрасно знаешь английский, мой родной. Помоги.

Говорил Владислав Игнатьевич всегда чуть нараспев, растягивая гласные, и слегка в нос, с французским прононсом. Поэтому даже то слово, которым он обозвал попку, звучало в его устах как нечто аристократическое. Если тема разговора была волнующей, он весь отдавался вдохновению: по-актерски начал сам себя «заводить», распалять, сгущать краски, идя на поводу у своего недюжинного темперамента. И ты уже не понимал, что это — монолог короля Лира или просьба сходить вместе в магазин. В данном случае речь все-таки шла о магазине:

— Котенок, мы возьмем моторикшу и поедем к этой своло-



**Владислав Игнатьевич Стржельчик.**  
**Роскошный артист. Мой добрый Сальери.**  
**Дома всегда угощал меня потрясающими**  
**пирожными. Накормит, а потом говорит:**  
**— Тебе нужно худеть, а то Моцарта не**  
**сможешь играть!**



**БДТ. Спектакль «Амадеус».**  
**Констанция — заслуженная артистка России Леночка Попова. Через минуту**  
**начнет хлестать Моцарта, то есть меня, ввером по физиономии**



- **Нормально, Моцарт?**
- **Отлично, Сальери!**

**На гастролях в Японии в 1989 году у меня первый и последний раз в жизни была отдельная гримерная комната и личный костюмер. Точнее, костюмерша. Из местных.**



**Наивные японцы полагали, что роль Моцарта может играть только «звезда». Все наши народные артисты на этом спектакле в Токио переодевались в общей комнате на десять человек**

чи. Я его уничтожу, мой родной! Никаких обменов! Пусть вернет мои деньги! Переведешь на английский все, что я скажу этому говну, котенок! Их испортили русские, понимаешь? Наплыв скобарей из Союза! Этот горбачевский фестиваль развратил эту страну, мой родной! При англичанах этого не было, да, котенок?

— Не помню, Владислав Игнатьич.

— Я сейчас пообедаю с Людочкой. Потом я посплю. Потом мы возьмем моторикшу. И разнесем эту лавку!

— Можно взять велорикшу, это дешевле.

— Если мы втроем сядем, он сдохнет через десять метров, котенок! Только моторикша, мой родной!

Через два часа, еле уместившись в тесной кабинке моторикши, мы отправились в «Яшма плэйс» — крупный торговый центр.

По дороге я прочитал визитку продавца — Радж Сигх. В руке у меня был чек на ювелирный гарнитур. Цена 3333 рупии. Всю дорогу молчали. Затишье перед бурей. Я все же попросил В. И. предоставить все дело мне, по возможности не вмешиваться и молчать.

— Договорились?

— Конечно, договорились, мой родной!

Входим в небольшой магазин. Из десятков таких павильонов и состоит «Яшма плэйс». У прилавка стоит маленький человек в чалме. Глаза — хитрые, физиономия — злая. Да, думаю, этого голыми руками не возьмешь. Владислав Игнатьевич надел очки, заглянул в визитную карточку.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

— Мистер Радж Сигх? — начал он с достоинством английского колонизатора, уважающего местное население.

— Ес, сэра, Радж Сигх. Дружба — Горбачев — перестройка — фестиваль — карашо!

Индус выдал всю порцию своих знаний русского. И сложил ладони на груди в благодарственно-молитвенном жесте. Не успел я и рта раскрыть, как В.И. напустился на индуса.

— Что же ты делаешь вид, что меня не узнаешь?! А? Люля, как тебе это нравится? Ты меня не помнишь? Это я, я, я — тот самый русский мудака, которому ты всучил вчера это говно в золотой оправе!

И пошел, и пошел! Никаких тебе «котят» и «моих родных». Этого я больше всего и боялся. Монолог Сальери из финала первого акта спектакля «Амадеус» продолжался:

— Забирай свое цыганское барахло! Где мои деньги? Где мои *мани*?

Радж Сигх пододвинул к себе коробочку с украшениями и спокойно с улыбочкой начал:

— Ноу мани. Мани — ноу. Онли ченч. Онли фор ю ай давай зис!

И протянул нам другую коробочку.

В. И. повернулся ко мне:

— Что он сказал, котенок?

— Сказал, денег не даст. Предлагает это.

И понеслось по-новой:

— *Это ты наденешь на себя, когда в гроб будешь ложиться! И поплывешь в этом по Гангу! Понял? Понял? Требую мани! Мани! А индус бубнит свое:*

— Ноу мани. Онли ченч.

Людмила Павловна, до этого молчавшая, корректно отодвинула мужа рукой:

— Владик, дай я скажу.

Она долго с укоризной смотрела на торговца, давая понять, что потрясена его поведением. Она покачала головой из стороны в сторону, как это делают педагоги с большим стажем работы, и, с паузой после каждого слова, тихо проговорила:



— Как вам не стыдно...

После таких слов, произнесенных с такой интонацией, ученики обычно опускают головы, начинают плакать и правда всплывает наружу. А индус только улыбается и разводит руками. Людмила Павловна продолжает:

— Вы же видели, что я вчера была без очков! Что я плохо видела!  
— И опять коронное: — Как вам не стыдно!

Забыли милые мои соотечественники, что они не в ленинградском Гостином Дворе и что этот тип в чалме никогда не видел ни спектакля «Ханума», ни фильма «Адъютант его превосходительства». А поскольку в роли адъютанта его превосходительства сегодня выступал я, мне пора было выйти на авансцену. Тем более, что я не мог больше выносить издевательства над дорогими мне людьми.

— Хау мач зис? — строго спросил я, указывая на камни преткновения.

Хозяин с интересом посмотрел на меня и радостно выдохнул. Ну как бы дал понять, что наконец появился человек, с которым можно объясниться. Произношение у нас с ним было одинаковое.

— Фор оль пипл ин оль волд зис комплект кост — фо таузен сри хандрид сёти сри. Онли фор май совет френд (дружба — Горбачев — перестройка — фестиваль!) — сри таузен сри хандрид сёти сри!

Владислав Игнатьевич не понял, что многократно произнесенное слово «сри» — это числительное, а не глагол, и решил, что нас в очередной раз обидели:

— Что он там сейчас вякнул, котенок?

— Говорит, что и так продал вам комплект на тыщу дешевле, за три тысячи тридцать три рупии... — И вдруг я сам с пол-оборота завелся и выдал из себя мини-Стржельчика для развивающихся стран:

— Слушай меня внимательно! — начал я фальцетом. — Лисн ми! Это мои фазер и мазер. Мой фазер из грейт рашн артист, а потому ни хрена вот в этом ни андестенд. Моя мазер — она вообще слепая, — и я показал руками, как слепые ощупывают пространство. — Я их очень люблю! Ай лав их! — Далее весь свой монолог я щедро иллюстрировал жестами. — Поэтому, если ты не отгиваешь мне сри



ЮРИЙ СТОЯНОВ

таузен сри хандрид сѣти сри рупии, то ай гоу ту совет амбассадор и тебе — п...ец!

Ошеломленный индус забормотал:

— Ноу амбассадор, ноу — п...ц!

Не знаю, какое слово из двух убедило торговца больше, думаю, все-таки первое, «амбассадор», то есть посол. Не случайно же все автобусы с русскими подъезжают к одним и тем же магазинам. Значит, есть какой-то взаимный интерес?

— Ноу проблем, — сказал Радж Сигх. — Экскьюз ми! — И протянул мне 3333 рупии.

Когда мы вышли на улицу, душный воздух которой был пропитан специями, приправами, ароматическими благовониями и цветами, Владислав Игнатьевич достал из сумки блок «Мальборо», протянул его мне и сказал:

— Спасибо, котенок. Если бы не твой английский...

Он не смог закончить, потому что у меня начался приступ нервного смеха. Смешинка упала и на Людмилу Павловну, а вслед за ней заразился и Сам...

Едет по Дели моторикша и везет трех истерично смеющихся русских.

Владислава Игнатьевича Стржельчика больше нет с нами.

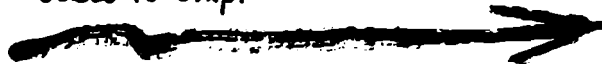
Я узнал о его кончине, когда был на гастролях в Казахстане. Этот рассказ был написан задолго до смерти артиста, и какое-то время я не мог его перечитывать. Тяжелым грузом лежало на сердце то, что не смог прилететь на похороны, не проводил в последний путь.

Илюша сказал мне:

— Это хорошо, что ты не видел его мертвым. Будешь помнить его только живым.

Таким я его и помню.

До встречи в «Торозки»  
всего 16 стр.



# Розетка для сушки рук, инвалидная коляска для полета и чай для ухода за обувью

На Тайвань в 1992 году мы летели сложно. Москва — Ташкент — Дубай — Дели — Карачи — Бангкок, пересадка на самолет компании «Тай» — полуторачасовой перелет над океаном и посадка в Тайбэе на островном Китае. Всё вместе — около суток. Над Дели кружили минут сорок. Позже выяснилось: на полосе загорелся наш «Ту-154» из Ташкента...

Уставшие и вымотанные болтанкой, перепутавшие все часовые пояса, мы приземлились в Бангкоке, столице Таиланда... Единственное, что внесло оживление в этот трудный перелет, так это бесконечные пересказы друг другу истории, которая произошла с одним нашим народным артистом еще в Шереметьево. Очевидцев было двое — Володя Козлов и я. Поведали мы ее двум нашим приятелям, способным оценить пикантность ситуации, но театральная почта разнесла эту байку по коллективу за полчаса. А дело было так.

Прошли мы таможенный и пограничный контроль. До вылета еще минут сорок. Кто пивко попивает, кто просто так слоняется. Я сижу, ковыряюсь в видеокамере. Вдруг в кресло рядом со мной падает Володя в приступе нездорового, с трудом подавляемого смеха. Тычет куда-то пальцем и выдавливая из себя:

- Там такое... такое...
- Где?
- В сортире!

Я протянул ему бутылку пепси, он отхлебнул, отдышался:

— Войдешь в сортир — там *наш* слева стоит в предбаннике. Ты только не расколись, не спугни чувака...

Вхожу в туалет. Слева у стены, спиной ко мне стоит *наш* и бубнит что-то себе под нос. Ничего смешного. Рядом с ним, согнувшись, Толя Иксанов — заместитель директора — завязывает шнурок на ботинке.



ЮРИЙ СТОЯНОВ



Видно, опоздал я на репризу. А *наш* бормочет одну и ту же фразу:

— Еле работает, твою мать, еле работает...

Толя вышел, а я решил по-бытовому оправдать свой приход и пошел в сторону кабинки. В это время *наш* слегка повернулся, и я все увидел. Знаете, бывают такие большие черные электророзетки на 380 вольт? В них обычно включают полотеры. Розетка эта прикрыта крышкой на пружине — от любознательных. Так вот, стоит *наш* и *сушит* руки под этой розеткой — как бы подставляет ладони потокам воздуха. Мы встретились глазами, и *наш* завелся:

— Ты представляешь, международный аэропорт называется! Сарай! Бардак! Она же почти не работает, эта фигня. Е-е-е-л-е-еле! — И он начал щелкать пластмассовой крышкой, будто это тумблер. — Нет, я тебе так скажу: не только этого аэропорта и этого города — этой страны не должно быть на карте!.. Неужели нельзя было повесить табличку: «Извините, еле работает»?! Нужно взять глобус, зарисовать нас белой краской и написать вместо названия страны: «Не работает». И все, и нет нас ни географически, ни политически. И изъять всякие упоминания о нас из всех энциклопедий. — И вдруг очень просто, без пафоса добавил: — Да нет, она почти не работает... ну так — еле-еле...

Он продолжает делать пассы руками под электророзеткой, а я чувствую, что сейчас начну ржать, поэтому направляюсь к выходу. И *наш* вдруг очень строго и в то же время заботливо спрашивает меня:

— А писать не будешь?

Я, как на плацу в армии, отрапортовал:

— Буду!

Постоял я в кабинке, отдышался и бочком, бочком из туалета — в чрево несуществующего аэропорта несуществующей страны...

До сих пор не дает мне покоя одна мысль: как понимать эти «еле работает» и «почти не работает»? Значит ли это, что розетка пусть чуть-чуть, но работала, хоть немного, но сушила? Вот в чем вопрос!

Пятьдесят лет работает у нас в театре артист Иван Иванович. За неделю до поездки на Тайвань подходит он ко мне и спрашивает:



ЮРИЙ СТОЯНОВ

— Юрка, как ты думаешь, мне палочку брать с собой?

Иван Иванович еще во времена финской кампании ноги простудил и поэтому без палочки ему трудно. Странно, почему это вдруг накануне гастролей возник вопрос о палочке?

— Иваныч, а вы что, уже выздоровели?

— Какое там выздоровел!

И Иваныч продемонстрировал печальное состояние своих конечностей: прошелся, сильно прихрамывая.

— Тогда не понимаю вопроса.

— Я боюсь, что *эти*, — он многозначительно показал на небо, — *эти* скажут: ну его на хрен, этого хромого, здоровых девать некуда. И больше никуда меня не возьмут.

Вообще-то, Иваныч — человек незаменимый. Точнее, не так: Иваныч — человек, которым можно заменить любого актера. Он знает наизусть все роли из репертуара маститых артистов театра. Особенно пристально Иваныч следит за творчеством наших народных — Николая Трофимова и Евгения Лебедева. А поскольку и у того, и у другого иногда возникают проблемы с запоминанием текста, Иван Иваныч всегда на стреме. И если он идет по коридору и бубнит слова чужой роли, значит сверкнул ему софитик надежды со сцены, значит кто-то приболел или опаздывает на спектакль. При этом лично я не помню ни одного случая, когда бы постоянная готовность Иваныча к творческому подвигу была реализована в нашем театре. Тем не менее Иваныч, говоря словами персонажа, которого он мечтал сыграть всю жизнь, «пошел другим путем». Нет в Ленинграде — Санкт-Петербурге такой клубной площадки, такого красного уголка, цеха, жэка, где бы Иван Иваныч ни подхалтурил от Ленконцерта. Там-то ему и пригодился репертуар Трофимова — Лебедева. В общем, на таких, как Иваныч, держится театр, а сам Иваныч держится за палочку...

Я в какие-то минуты бываю очень убедительным оратором. И все, что сам побоялся бы сказать в глаза начальству, выговариваю Иванычу, готовящемуся к поездке на Тайвань:



ЮРИЙ СТОЯНОВ

— Иван Иваныч, как вам не стыдно, елки-палки! Вы прошли две войны от звонка до звонка и боитесь тех, ради кого воевали?! Вы один работаете в театре столько лет, сколько все наше начальство вместе взятое! И вы, как никто другой, имеете право посетить мавзолей генералиссимуса Чан Кай-ши — практически вашего ровесника!

И полетел Иваныч на Тайвань с палочкой.

В аэропорту Бангкока выяснилось, что нам предстоит здесь кан-



товаться часов восемь в ожидании самолета на Тайвань. Каждый был предоставлен самому себе, но нас попросили далеко не разбредаться, потому что возможен завтрак за счет проштрафившегося «Аэрофлота». Иваныч про хлявный завтрак не расслышал и исчез за ближайшим киоском. Когда Иваныч был на виду у всех, он поигрывал палочкой, как будто это не подпорка, а так — реквизит заезжего жонглера. На самом деле передвигаться на своих двоих ему было трудно, как никому.

**Один из героев тайваньской эпопеи Николай Николаевич Трофимов. Выдающийся комик, Чарли Чаплин Большого драматического театра. С самого начала моей работы на телевидении с трогательным вниманием и доброжелательностью относился к тому, что я делал**



ЮРИЙ СТОЯНОВ

Аэропорт в Бангкоке — это система длинных коридоров, находящихся на разных уровнях. Перепад между ними составляет метр — полтора. Преодолеть этот перепад можно на эскалаторе, а можно пешком по гладкому некрутому пандусу, сделанному так, чтобы удобно было катить тележки и чемоданы на колесиках. И на каждом углу стоят инвалидные коляски. Причем этих колясок в аэропорту больше, чем инвалидов на всем Тайване...

Прошло какое-то время и представитель «Аэрофлота», сложив руки трубочкой, выкрикнул:

— Артисты, пожалуйста, за мной, в кафе!

Разновозрастная толпа уставших мужчин и женщин тронулась за элегантным молодым человеком и пошла вверх по длинному пандусу — в следующий зал. И вдруг...

Из-за горизонта (говоря телевизионным языком, «из-за границы кадра») появился Иваныч — как будто пророс из верхнего коридора. Иваныч сидел в инвалидной коляске. Под ним находилась трупка БДТ — сорок пар удивленных глаз. На лице Иваныча застыл ужас. Ведь его беспокоило даже наличие у него тросточки, а тут он предстал перед всеми в инвалидной коляске! Стало быть, он уже и ходить не может?! Эта секундная немая сцена, этот стоп-кадр, вероятно, показались Иванычу вечностью. Он не выдержал. Его руки, державшиеся за резиновые колеса, дрогнули, и коляска с артистом покатила вниз. С каждым мгновением набирая скорость, она врезалась в толпу и начала ее рассекать. Кого-то Иваныч сбивал с ног, кого-то успевал оттолкнуть руками. При этом вместо того, чтобы кричать «Поберегись!», он выкрикивал: «Покататься! Покататься!» Это должно было означать следующее: «Я — совершенно здоров, а в коляску сел для того, чтобы *покататься!* Всего-навсего *покататься!*»

Иваныч повторял это слово, пока один из рабочих сцены не поймал злополучную коляску...

И смешно, и грустно.

Обязательно сниму все это когда-нибудь. Желательно — в Бангкоке. По дороге на Тайвань.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

И вот мы наконец гуляем по Тайбэю, главному городу Тайваня. И захотел Ник-Ник (Николай Николаевич Трофимов) купить в Тайбэе черный чай. Подходит он ко мне и просит написать на листке по-английски слово «чай». Я написал «теа», поскольку письменным английским владел еще хуже, чем устным. Бумажку он потерял и, попав в огромный, многоэтажный универмаг, стал вспоминать, как пишется этот самый «чай». И возникло в его воображении некое сочетание букв, которое в звуковом выражении оформилось как странное слово «мэа». Это слово он бережно понес на кончике языка к ближайшему продавцу.

Есть у Ник-Ника в театре прозвище — Великий немой. Дело в том, что, забыв текст своей роли, он гениально компенсирует его отсутствие пластикой и мимикой, как в немом кино. Он умеет создать у партнера и зрителя впечатление, что тот либо чего-нибудь не расслышал, либо сам перепутал слова. В спектакле «Смерть Тарелкина» он должен был спеть такую фразу (в роли Расплюева):

Легче с дьяволом в тарелке,  
Все мертвы, а этот жив.

Великий немой выдал:

Легче... тушки-карабушки  
тра-та-лай-ла марабу!!!

После этого «марабу» весь театр долго не мог прийти в себя. Будучи феноменально музыкальным человеком, Ник-Ник замечательно уложил свои «тушки-карабушки» в размер забытой фразы. Зритель ничего не заметил...

Положившись на свой опыт, Ник-Ник обратился к продавцу. Выяснилось, что слова «мэа» в китайском языке не существует, но есть какие-то сходные по звучанию слова. Служащие шестиэтажного универмага начали водить бедного Ник-Ника по этажам. Все, что напо-



ЮРИЙ СТОЯНОВ

минает «мэа», было предложено потенциальному покупателю вежливыми китайцами. Ему принесли подарочный набор засушенных гадов, фломастеры, носовые платки и многое другое. Среди прочего был показан и чайный сервиз. «Уже тепло!» — подумал Ник-Ник. Вспомнив то, что я ему написал, он попросил фломастер — в некотором роде тоже мэа, как выяснилось. Взяв листок бумаги, он изобразил наклоненный чайник, из которого льется струйка прямо в чашку. От струйки он провел стрелочку и нарисовал восклицательный знак.

— Это мэа. Мэ-а!

Китайцы радостно закивали и повезли Трофимова на эскалаторе на цокольный этаж. Там продавались продукты. Ник-Ника подвели к витрине, где были выставлены минеральные и другие воды.

— ...вашу мать! Это не мэа! — закричал Трофимов и в эту секунду на соседних полках увидел упаковки с чаем.

— Вот оно мэа! Вот оно!

Ник-Ник пожал руки продавцам и помахал им ладошкой, мол, топайте, мэа я нашел, спасибо, до свидания. Китайцы раскланялись и убежали. Осталось выбрать именно черный чай (а не преобладающий здесь зеленый). Но надписи-то все на китайском и английском языках! И снова пришлось Ник-Ник у идти к продавцу:

— Это — мэа, — сказал он, показывая на прилавок, — но мне нужен *черный* мэа.

Продавец непонимающе закивал головой. Тогда Ник-Ник вспомнил, что обут в ботинки черного цвета. Человек хоть и не молодой, но очень пластичный, он начал вертеть носком ботинка почти у носа продавца, тыкать в ботинок пальцем и приговаривать:

— Это — черный! Черный!

Продавец взял Трофимова под руку и повез на шестой этаж. Естественно, что после этюда под названием «играю черный цвет», показанного Великим немым, его привезли в обувной отдел и подвели к полке, где стояли только черные туфли.



Обычно артисты рассказывают о том, кого они играли в театре.  
Я же — только о том, на чем играл. На гитаре, на балалайке, на скрипке,  
на аккордеоне...

На снимке сцена из спектакля «Киноповесть с одним антрактом»:  
справа от аккордеона Алиса Фрейдлих, Марина Адашевская, Елена Попова  
и чей-то ребенок.

Когда в 1993 году мне дали очередную рольку и я прочитал ремарку:  
«Входит Обноскин с гитарой», то в тот же день ушел из театра.

Как сказал Олейников,  
«театр начинается с вешалки, а кончается  
заявлением об уходе»

# От А до Я за три года



1991 году, весной, мы с Олейниковым пришли на Ленинградское телевидение. Илья решил сразу обратиться к Кириллу Набутову — лучшему ведущему лучшей программы того времени на 5-м канале «Адамово яблоко. Передача для мужчин», сокращенно — «А.Я.» Дело оставалось за малым: решить, в каком качестве нам предложить себя Набутову. О том, что такое телевидение, я тогда имел представление лишь как зритель. И подобно большинству зрителей считал телевидение искусством весьма поверхностным, а подобно большинству артистов относился к нему только как к средству «раскрутки». За три года работы в «Яблоке» мои представления полностью перевернулись.

После трехдневных совместных раздумий мы пришли к идее экранизации анекдотов, и я, ничего не смысливший в телевизионной технологии, пытался подвести под эту идею большую теоретическую базу. Редакторское чутье подсказало Кириллу, что нечто в нашей затее все-таки есть, и он дал добро. В «Адамовом яблоке» возникла новая пятиминутная рубрика — «Анекдоты от Адама до наших дней».

В моей жизни наконец-то появилось дело, в котором многое зависело исключительно от меня и моего партнера. И я никогда не забуду людей,



ЮРИЙ СТОЯНОВ





**Кира. Сын знаменитого спортивного комментатора Виктора Набутова. Свободно говорит на французском и английском и замечательно пишет на русском. Бессменный хозяин и ведущий «Адамова яблока», которое мы вместе грызли три года**



**Два толстяка. Так называли нас с Юрой Олиневичем — режиссером монтажа передачи «Адамово яблоко». Приятно было сознавать, что есть кто-то, кто толще тебя. У Юры я учился монтажу. В этом человеке замечательно сочетаются любовь к фильмам Сокурова, способность декламировать стихи на немецком языке и умение виртуозно играть на балалайке**

учивших меня телевизионному делу. Они были моими ровесниками, а многие даже младше меня. Они не корчили из себя мэтров, а я не стеснялся учиться у них. Они мирились с моим характером. Я люблю их. Киру Набутова, Сашу Жукова, Митю Медведева, Юру Олиневича...

— Толстый, с сегодняшнего дня ты отвечаешь в «Яблоке» за эротику!

Эту историческую фразу Набутов произнес в 1992 году, когда копировать плэйбоевские VHS-ные кассеты стало уже неприлично.

— В каждом выпуске передачи должен быть оригинальный, смешной эротический клип! — заявил Кира.

— И эротический, и смешной? — переспросил я.

— Именно.

— Тогда я сам разденусь. Обхохочешься.

— Я не имею в виду фильм ужасов.

Ночью я сочинил сценарий клипа «Здравствуй и прощай» о выпускнице Смольного института, которая ждет в полночь своего возлюбленного — гусара. Пародия на немое кино начала века про роковой любовный треугольник. Предполагалось подать эту историю под видом архивного материала, чудом сохранившегося и свидетельствовавшего о том, что эротика существовала и до передачи «Адамово яблоко».

Естественно, о приглашении на съемки профессиональных актрис не могло быть и речи. За эротические съемки надо платить. А платить было нечем. Набутов привел двух девиц из ночного варьете и, отведя меня в сторону, сказал:

— Вот. Что Бог послал.

Бог послал ему двух очаровательных восемнадцатилетних девчонок, лишенных всяческих комплексов. Пока Кира общался с девочками, я пошел в буфет за сигаретами. Возвращаюсь через пять минут. Застаю картину: Набутов развалился в кресле, а будущие героини клипа в чем мать родила показывают какую-то сценку из своего ночного шоу. Я так понимаю, что Кира изобразил из себя режиссера и устроил телепробы в кабинете.

— Я вам не мешаю? — спросил я.

— Нет, заходи. Девочки, это — Толстый, ваш режиссер.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

— Смешная фамилия, — сказали девочки.

— Толстый — это не фамилия, это — имидж, — объяснил Набутов.—  
А фамилия его вам как раз очень понравится — Стоянов!

Впервые в истории ленинградского телевидения должны были сниматься в павильоне такие, мягко говоря, пикантные кадры. Чтобы не будоражить коллектив орденоносного телецентра, съемки решили сделать ночными. И, чтобы шло как можно меньше народу, заказали смену с 24-х часов.

Никогда, на моей памяти, коридор рядом с 1-й студией не был таким оживленным, как в ту ночь. Маленькое ромбовидное окошко в огромной звуконепроницаемой двери павильона было нами демонстративно задрапировано. Это не помогало. Непонятно из каких щелей возникали на съемочной площадке люди. То осветитель зайдет, которого днем с огнем не сыщешь, и начнет долго вкручивать ненужную нам лампочку, то пожарник появится и спросит:

— Не курите?

— Нет, — говорю и показываю на голых актрис, — они еще не умеют.  
То охрана возникнет в полном мужском составе:

— Посторонних нет?

— Нет, — отвечаю, — все свои. Раздевайтесь.

То машинист незаказанного нами операторского крана влетит:

— Кран нужен?

— Не нужен.

— Так сверху же лучше...

— Это ты дома своей жене скажешь! — срывается оператор Митя Медведев. — А я вот люблю снизу... снимать.

И так далее.

Клип получился и смешной, и трогательный. И можно смело сказать, что он явился результатом коллективных усилий всех мужчин, якобы случайно оказавшихся в ту ночь рядом с нами...

— Толстый, в передаче мало музыки. Ты должен снять какую-нибудь песню. Чтобы обойтись без «попсы». Чтобы был эксклюзивчик! — очередная идея Кирилла Викторовича Набутова.



ЮРИЙ СТОЯНОВ

- Это дорого, — отвечаю.
- А ты свою песнюними — будет дешево.
- Сами снимайте. Это еще дешевле.
- И снимем!
- И снимайте!
- И снимем!

В ту пору в «Яблоке» работал славный паренек, ассистент с режиссерскими амбициями — Леша Щукин. Еще у нас был администратор Саша Медведь, который любил протирать видеокамеру и смотреть на нее. Им-то Кира и поручил съемки музыкального видеоклипа. Вероятно, это был тонкий педагогический ход. Остановились на моей песенке на стихи Анатолия Флейтмана «1812 год». В ней такой рефрен:

Слева, на флешах,  
в созвездьи костров — Милорадович.  
Справа, на фланге,  
в безмолвии — Багратион...

Сюжет песни — Бородинское сражение. И через весь текст (довольно сложный и насыщенный образами) проходят эти строки: про то, что где-то слева — Милорадович, а где-то справа — Багратион. Петть песню в кадре должен был я. Пацаны (то есть «режиссер» и «оператор») поняли, что тут очень важно, кто из героев стоит справа, а кто — слева. И главное — не перепутать, где у нас «право», а где «лево» по телику, блин. Три дня они шушукались, что-то рисовали. Когда я подходил, бумажку прикрывали руками, как будто я — второгодник, жаждущий списать контрольную.

Наступил день съемок песни «1812 год», или «Песни про чуваков, которые слева и справа», как говорили между собой творцы видеоклипа. Сели в автобус.

- Куда едем? — спрашиваю.
- К Казанскому собору, — отвечают.

Снимать про Багратиона и Милорадовича у собора Казанской Божьей Матери? Ну, думаю, Щукину и Медведю виднее...



ЮРИЙ СТОЯНОВ

Приезжаем. Нас поджидает машина «Ленэнерго» с телескопической вышкой для ремонта уличного освещения. Ее Саши Медведя дружба за бутылку пригнал. Машину паркуют посередине между двумя памятниками. Медведь с камерой залезает в «люльку», и водитель поднимает его на высоту метров десять. А Леша Щукин — внизу. Руководить будет. «Постановку ставить». У обоих милицейские рации для переговоров друг с другом. Солидно подготовились.

Леша мне говорит:

— Ты — слушаешь фонограмму. Когда будут слова, что слева Милорадович, грустно так чапаешь к левому памятнику, а когда про то, что справа Багратион, — в противоположную сторону.

Он посмотрел на вышку и сказал по рации Медведю:

— Саня, когда Стоян пойдет налево, наезжаешь камерой на фамилию памятника, там должна быть табличка. То же самое — с правым. Ну, как договаривались. Поехали!

А народу собралось у Казанского немало. Съёмка все-таки.

— Пишем! — командует Леха.

Зазвучало вступление. Пошли слова: «Слева, на флешах, в созвездьи костров — Милорадович...» Иду к левому памятнику. Щукин кричит Медведю:

— Саня, наезжай на памятник!

Вероятно, Саня по команде трансфокатором приблизил к себе памятник и наконец-то узнал, что за мужик с эполетами стоит на постаменте. Я слышу его голос по рации:



**Невеста — это я. А слева — нет, не жених, а бессменный оператор всех анекдотов в «Адамовом яблоке» и всех выпусков «Городка» Митя Медведев. Семь лет мы вместе**



ЮРИЙ СТОЯНОВ

— Леха, фигня получается. Это Кутузов!

— А справа кто?

— Ща посмотрю.

Медведь использует камеру как бинокль и поворачивает ее направо.

— А там вообще Барклай де Толли!

...Как вы понимаете, этот съемочный день был у нас рекордно коротким, а наличные затраты минимальными — бутылка водки.

Действительно, дешево сняли.

Раз в неделю Кирилл спрашивал меня:

— Ты еще не ушел из театра?

— Нет.

— Все равно уйдешь. Твое дело — телевидение.

Он мог позвонить мне в два часа ночи:

— Давай покидаем!

«Кидать» — значит обмениваться идеями по передаче.

И мы кидали...

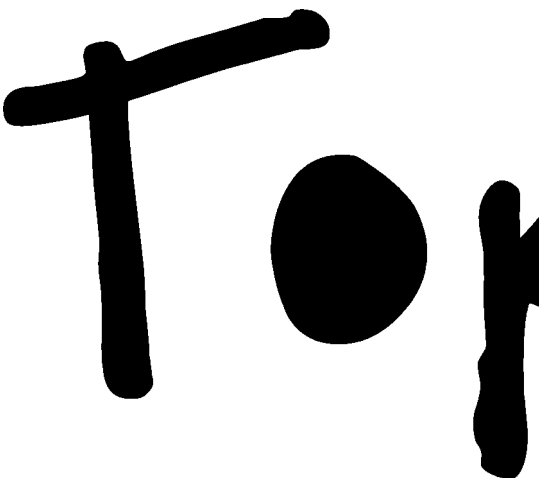
Он заставлял меня быть одновременно репортером, журналистом, сценаристом, режиссером, ведущим. Но больше всего приучал к телевизионной режиссуре.

Иногда он приходил на монтаж за час до выхода передачи в эфир начитывать закадровый текст и говорил:

— Я потерял бумажки. Но ничего, я все помню.

Я знал, что это неправда, что он устал и текст попросту не написан. Кира брал микрофон и начинал наговаривать под картинку. Как правило, это выливалось в блестящую эмоциональную импровизацию.

Журналист Божьей милостью, эрудит, умница, трудяга. Огромного



роста, с открытой улыбкой, ранимый, заводной, отходчивый, не знающий чувства зависти. И по сей день почти в одиночку везущий свой телевизионный воз.

В 1993 году он часто говорил нам с Ильей:

— Вам нужно делать свою



# огзок

передачу. Я договорюсь об эфире на нашем канале. Делайте, делайте.

И мы сделали. Только на другом канале. На Российском. Но если бы не было «Адамова яблока», не было бы и «Городка». Я не забываю об этом.









Топогок

Торгок

